



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

С-40

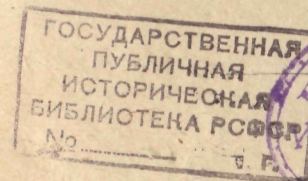
СИРИЛЬ-БЕРЖЕ

84-3

CYRIL - BERGER

В ТО ВРЕМЯ, КАК ОН СРАЖАЕТСЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ А. БАРБЮСА
ПЕРЕВОД Э. Л. ВЕЙНБАУМ
РЕДАКЦИЯ А. ВЕЙНРАУБ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—МСМХХIV—ЛЕНИНГРАД

Отпечатано 3.150 экз.
в Тип. „Коминтерна“
Изд-ва Красная Новь
Гиз. 5615.
Ленинградский
Гублит 816
Ленинград.

Анри Барбюсу,
автору несравненной книги, с чувством
глубочайшего восхищения.

С. Б.

В ТО ВРЕМЯ, КАК ОН СРАЖАЕТСЯ

PENDANT QU'IL SE BAT...

1918.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я благодарен авторам этой прекрасной книги.

Из всех моих боевых товарищей я любил больше всего Арсена. Я встречал его много раз, его или его брата, его бедного безымянного брата: такого же, как он.

Им кишмя кишат глубокие толщи народа, преобразованного в армию. Он занимает места не больше, чем звезда на небе. Это простой человек, вечная жертва естественных и социальных законов, игралище вещей и людей. Меньше всего он может преуспевать в жизни, он слишком доверчив, чтобы твердо знать то, что он делает, и слишком кроток, чтобы пользоваться прочным счастьем. Жизнь оглушает, обманывает и душит его, а смерть берет его без блеска—и даже без шума—лицемерным путем болезни. Во вселенной он составляет одну полумиллиардную частицу человеческой действительности, не больше, он одно из тех созданий, с которых правящие силы взимают целиком налог жертвою и которые не дороже лопатки земли или кирпича.

Я с умилением снова встретился с ним в этой драме, которая так своеобразно-трогательно увековечивает его черты. Не много найдется приключений столь же трагических, как эти, захватывающие своей простотой. История Арсена приковывает к себе, хватая за душу,

она заставляет и улыбаться, и плакать. Потому что у этого униженного человека было человеческое сердце, а сердце не бывает униженным. Он любим, и поэтому нельзя сказать, что он прошел по земле незамеченным, ибо тот, кто был любим, был понят проникновенно.

Но нельзя также сказать, что он был бесполезен и что он оставил след только в сердце женщины, овладевшей его сердцем. Его узкая задача, его маленькое дело не уничтожены; напротив, они даже значительны. Все более и более раскрываются у нас глаза, и мы видим значение и величие безымянных усилий, не увенчанных славою. Забитый жизнью, отброшенный в сторону хищной наглостью окружающих, ослепленный, оглушенный, попраный честолюбцами и, наконец, замученный и окончательно угонувший в водовороте—он все-таки послужил! Сила прогресса, которая станет со временем непреодолимой, создается из множества невидимых обязанностей, из скрытых согласий и из скромной лепты смиренных существований. Его судьба была драгоценна, и этот побежденный был триумфатором, ибо человечество спасется обездоленными.

В грядущий, более прекрасный и более счастливый общественный строй, который последует за нашим, не войдет чувство жалости, потому что окончательное улучшение человеческой участи будет основано только на разуме и справедливости. Но, в ожидании прекрасного будущего, жалость есть трепет ясновидения и единственное чудо, которое позволяет понять действительную ценность жизни.

Анри Барбюс

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Гнетущая тишина нависла над улицей Клиньянкур. В жгучей атмосфере этого склонявшегося к вечеру дня люди сходились, чтобы почти тотчас же разойтись и зашагать еще быстрее. Другие внезапно выступали из темных переходов, неизвестно что высматривая. В окнах виднелись испуганные лица. Реял тяжелый покой, предвестник бури, полный недобрых сил, готовых разразиться вихрем.

Дело в том, что война казалась теперь неизбежной. Желая отвлечься от носившегося в воздухе беспокойства, госпожа Дюфур, сидя за конторкой в своей скобяной лавке, усердно трудилась над сложением цифр в своей кассовой книге. Но взгляд ее поминутно отрывался от столбцов, по которым бегало ее перо, и оставался на приказчике, занятом разборкой кучи гвоздей.

— Ну, Арсен,—вскричала она наконец,—успокойте меня. Я не могу больше совладать со своими нервами! Скажите мне, что муж мой сейчас вернется, что он ничем не рискует.

— Такой человек, как господин Дюфур...

— Ведь он ушел сразу после завтрака,—перебила госпожа Дюфур.—Ушел, не успев даже закурить сигару! Признаюсь вам, что у меня, ей богу, не было сил

удержать его. Он был так счастлив! Ему так хотелось высказаться, излить перед кем-нибудь свой энтузиазм!

— Уверяю вас, что г. Дюфур...

— Подумайте только, что сорок четыре года он только и жил в ожидании сегодняшнего дня, в надежде на эту войну. Но вот что меня пугает: ведь всегда возможны беспорядки. А у Патриса такая великодушная, бесстрашная и страстная натура! Мне кажется, я вижу его сейчас перед статуей Страсбурга! Я вижу его, я слышу его! И я говорю самой себе, что там могут быть и анархисты. Вы знаете, однажды, в Ваграмском зале, где он председательствовал на собрании Лиги, револьверная пуля задела его мягкую шляпу. Ах, Арсен, не оставляйте меня в этом нервном возбуждении, придумайте что-нибудь...

— Но, сударыня, ведь вы не дали мне времени...

— Если бы вы видели как он был взволнован!.. Он весь дрожал. Он был точь-в-точь в таком же состоянии, как восемнадцать лет тому назад, в тот знаменитый день, когда он без шляпы и без воротничка убежал из лавки за лошадью генерала, который шел на Елисейский дворец!.. Только бы он опять не вернулся с разорванным галстуком, с вырванными волосами...

Арсен снова спокойно взялся за свое дело.

Но вдруг шея у него вытянулась, как у собаки, делаящей стойку.

В окне лавки он заметил мадмуазель Матильду. Она приближалась, помахивая свертком нот, который она держала концами пальцев затянутой в перчатку руки. Она шла в сопровождении Мари.

— Вот ваша дочь возвращается с урока пения,—заявил он, обращаясь к г-же Дюфур.

— Очень рада,—кисло ответила та.

Проходя мимо окна лавки, Матильда кивнула голо-

вой. Увидав ее, всю розовую, с слегка наклоненной головой, улыбающуюся ему, молодой человек почувствовал, что сердце его забилося немного сильнее.

Очень обыкновенная история, что приказчик влюбляется в дочь своих хозяев; всегда ведь больше всего нравится тот цветок, до которого не дотянуться.

Он отдался этой любви всем порывом своей честной, до безумия чувствительной души!

Долгое время скромность его положения лишала его малейшей надежды. Между тем, так как он усиленно работал и добрая воля его никогда не подвергалась сомнению, кончилось тем, что Дюфуры обратили на него внимание.

Молодая девушка была красива, но родители не отличались богатством. Два претендента, один за другим, сочли лучшим удалиться. И тогда-то родители решили, что было бы благоразумно запастись на всякий случай кандидатом: ему разрешено было скромно ухаживать за барышней, но при этом ему дали понять, что он допущен лишь за неимением лучшего и что они сохраняют за собой право удалить его, даже не извинившись, если представится более выгодная партия.

Отдаленный лай газетчика снова разжег беспокойство г-жи Дюфур. Ее охание стало теперь равномерным и безостановочным.

Но Арсен не слушал ее больше.

Арсен мечтал о Матильде!

С тех пор, как на горизонте появилось мрачное облако войны, он ни разу не сказал себе, что в скорости потребуется его кровь. В этой угрозе он видел только удобный случай добиться своего, вырвать у хозяев, под давлением событий, благоприятный ответ.

И пока г-жа Дюфур продолжала охать и ахать, он принял великое решение—тут же, сейчас же поговорить с нею вполне откровенно.

Тем не менее, чтобы придать твердость своему голосу и чтобы быть уверенным, что он не ослабеет в решительный момент, он пошел обходным путем.

— Я опорожнил весь мешок,—начал он издали,—у нас двенадцать кило парижских гвоздей.

— Вы говорите—двенадцать кило?

— Г-жа Дюфур, выслушайте меня!—вскричал он тогда.

Но в ту же минуту открылась, как бы от порыва ветра, дверь лавки. В образовавшуюся щель молодой человек, бледный, как мел, и без шляпы, крикнул:

— Все кончено!.. Афиши расклеены!

И, как бы подхваченный ураганом, он прыгнул к портному, оттуда в мелочную.

Арсен узнал Дютара, помощника аптекаря. Он перебегал зигзагами с тротуара на тротуар, как возвещающая молния, возникшая из тучи.

Улица тотчас же закипела. Ее наполнил гул.

Г-жа Дюфур, дрожа, поднялась с места.

— А мой муж... мой бедный муж!.. Только бы его не принесли на носилках!.. Боже мой, боже мой!..

— Умоляю вас, сударыня,—перебил ее Арсен, на этот раз твердо решивший заставить ее выслушать себя.—Г. Дюфуру ничто не угрожает. Война заставляет всех французов, каковы бы ни были их политические взгляды, объединиться в священный союз.

— Может быть вы еще скажете, что муж мой боится высказать свои чувства, что он просто ротозей.

— Но, сударыня...

— Да, да... идите, разгласите об этом по всей улице...

Она не успела договорить. В лавку вошел Белиар, торговец лаком и красками, и принялся пожимать руки несчастной женщине своими потрескавшимися от кислот руками.

Затем настала очередь Пакотта, фабриканта рубашек, который в поспешности своей не снял с шеи кожаного ремешка, служившего ему меркою для воротников; затем—аптекаря Тардье, который утирался уже мокрым носовым платком; потом—часового мастера Луазона, который, как безумный, хлопал веками, и многих других, составлявших обычную свиту Дюфура и окружавших его шумным восхищением, потому что они видели, как над водоворотом всех больших патриотических манифестаций, подобно султану, развевались широкие поля его фетровой шляпы.

Они знали, что афиши уже красовались на стенах. И они инстинктивно пришли сюда, чтобы объединиться вокруг своего вождя, как овцы теснятся вокруг пастуха, когда гремит гроза.

Каково же было их разочарование!

Где Дюфур? Что он делал? В их глазах Дюфур был символом всей националистической авантюры, кончавшейся торжеством сегодняшнего дня. А Дюфура не было!

С их точки зрения война была важна только в связи с тем, кого они всегда величали «своим великим другом».

— Он не в «Коммерческом кафе»?—рискнул заметить Тардье, поправляя соскользнувшее с потного носа пенсне.

— В кафе... в такой день!

— Вы с ума сошли!

И все обрушились на бедного аптекаря.

— Скорее он в Лиге.

— Или на улице, с народом... там его место!

— Да... да!

Арсену пришло в голову подняться к Матильде, воспользовавшись этим замешательством. И он проскользнул уже в комнату за лавкою, как вдруг ужасный треск привел в волнение всю улицу. Начался грабеж молочной Магги. Стекла разлетались вдребезги, били горшки. И молоко уже стекало широкой полосой на тротуар.

Затем послышалось металлическое скрипение запираемых соседских окон.

Всякий испугался за свое добро, и лавочка опустела еще скорее, чем наполнилась.

— Арсен! — надрываясь, кричала г-жа Дюфур, — закройте сию минуту ставни... Мари поможет вам... Мари! Мари! сойдите вниз... Да сойдите же! А я побегу к дочери... Скорей, скорей... А затем приходите к нам... Вы пообедаете с нами.

Когда Арсен, в восхищении от этого приглашения, закрыл ставни, Мари, прибежавшая в лавку, встала на скамеечку, чтобы зажечь горелку Ауэра.

— Не беспокойтесь об остальном, — сказала она. — Я сама уберу товар. Это мое дело.

— А это вам не неприятно... правда?

Но не успел он вымолвить этот вопрос, как его поразила бледность ее лица.

— Вы больны? — спросил он. — Вы совершенно побелели.

— Это, вероятно, отражение этих оловянных лоханок, м'сье Арсен... ничего другого... потому что я себя чувствую великолепно... уверяю вас!

— А вы правду говорите? Если вы хоть немножечко утомлены или просто взволнованы тем, что произошло, я готов помочь вам... вы это знаете!

Он от всей души, так легко воспламенявшейся состраданием, предложил ей это. И потом ведь эта смиренная девушка несла ту же ношу, что и он. Она была

одной служанкой у г-жи Дюфур, которая занимала ее и в лавке, где нужно было быть любезной с покупателями, и большой уборкой, где нужно было только становиться на колени с тряпкою, намоченной в грязной воде. Кроме того, она сопровождала мадмуазель Матильду на урок пения; но, чтобы Мари не повредила ни в чем ее дочке, г-жа Дюфур заставляла ее запирать свои великолепные волосы в узкий чепчик.

Арсен повторил свое предложение.

— Не нужно, — ответила она, — вас ждут там, наверху. Вам неприлично задерживаться здесь так долго.

И в голосе ее, несмотря на кротость ее тона, было столько настойчивости, что он позволил убедить себя.

Подымаясь по лестнице, Арсен, решимость которого улетучилась, довольствовался теперь надеждой на то, что по случаю войны и ожидающей его большой опасности Матильда станет немножечко доступнее, чем обыкновенно.

Он застал ее в столовой одну. Он сейчас же заметил, что она сменила свой выходной костюм на скромное домашнее платье без всяких претензий. При виде этого «неглиже» он тотчас вообразил себе, что уже разделяет ее интимную жизнь.

— Бедный мой Арсен, — сказала она, протягивая ему руку, — мама сейчас рассказала мне... Это ужасно... не правда ли... это, действительно, ужасно!

Этот прием наполнил его блаженством. Его потянуло к ней. Сердце его переполнилось. Он хотел обнять ее и прижать к себе, тихо, долго...

Но она откупорила баночку и стала капать в стакан желтоватую жидкость, которую она принимала, как кровоочистительное лекарство; как раз недавно у нее на лбу выступили маленькие прыщики, безобразившие ее умеренную красоту, унаследованную от матери.

Арсен подумал, что ей нужно считать про себя и, чтобы не мешать ей в этом деле, требующем внимания, не нарушал воцарившегося молчания.

— К столу, — сказала г-жа Дюфур, входя.

И опять принялась говорить о своем муже.

Она неумоимо вспоминала все митинги, на которых он председательствовал, все манифестации, на которые она сопровождала его, восходя таким образом до эпохи буланжизма.

Арсен, на которого болтовня эта производила не больше впечатления, чем шум от приложенной к уху морской раковины, не сводил глаз с Матильды, надеясь, что и она в свою очередь взглянет на него.

Но Матильда, занятая своей собакой, трясущейся, слезливой москвой, которую она пичкала кусочками мяса, прерывала это занятие только для того, чтобы спустить чёлку на прыщики, красневшие у нее на лбу.

Тогда Арсен решил ответить г-же Дюфур. Но результатом этого тактического приема, увы, явилось только то, что он привлек на себя внимание собачки, устремившей на него угрюмый, полный отвращения взгляд.

— Ну, а когда же вы едете? — решительно спросила г-жа Дюфур.

У него мелькнул луч надежды.

— Я призываюсь к мобилизации на третий день.

— И куда вас пошлют?

— Прямо в Туль.

— Это ужасно, — повторила Матильда, — ужасно!

— Я буду там в первой очереди, мадмуазель!

Г-жа Дюфур сделала серьезное лицо, лицо особы, собирающейся объявить что-то очень важное. Арсен затаил дыхание. Сейчас она заговорит с ним о Матильде, об их общем будущем.

— На третий день. Значит, вы уезжаете послезавтра, — высчитала она.

— Да, сударыня, послезавтра.

— В таком случае... лучше всего... было бы составить список.

— Что прикажете?

— Я говорю: список.

— Товара в магазине? — спросил он с судорогой в горле.

— А то чего же? — ответила она. — Но успокойтесь: я не требую от вас полного списка. Да у вас и времени не будет составить его. Нет, вы просто перечислите имеющийся в магазине товар, называя только крупные вещи.

— Слушаюсь.

— Вы можете, например, не упоминать о вениках, метелках, семенах и прочем неважном товаре.

Затем она стала очень подробно говорить о том, как лучше всего взяться за эту работу.

Арсен боялся, что разговор этот будет тянуться до бесконечности.

— Я надеюсь все-таки, что война не будет продолжительна, — осмелился он заметить, когда служанка принесла сыр.

— Мы ничего не знаем. Потому что война, видите ли, это неизвестное. Во всяком случае, дорогой Арсен, ваше место будет за вами, словно вы обязательно должны вернуться.

Ему вдруг показалось, будто что-то покатилося в нем. Он даже начал сомневаться, хорошо ли он понял, и взгляд его переходил с матери на дочь.

— Нельзя так говорить, — упрекнула ее Матильда. — По моему мнению, война эта всем нам принесет счастье.

— Да, мадмуазель, — вскричал он, внезапно воспрянув духом.

— Папа еще сегодня утром сказал то же самое. Он обещал, клялся, что еще до конца зимы наши победоносные войска продефилируют под Триумфальной аркой... Кратковременная и радостная! Вот, что он сказал.

— Вы сто раз, тысячу раз правы! — подхватил Арсен.

И сейчас же у него в голове возникло светлое видение. Это было во время больших маневров. Белые обшлага, среди которых был и он, шли в атаку по только что сжатому полю мимо благосклонно смотревшего на них главного штаба, взгромоздившегося на холмик, в тени мельницы. Ему казалось, что он и сейчас еще слышит, как трещат под его подошвами стебли сжатой травы; ему казалось, что он видит, как блестят в лучах веселого солнца стальные штыки и золотые галуны офицеров. Все это было полно жизни и увлечения. Может быть, и то, что должно произойти, не больше, как прекрасный военный праздник!

— Чему вы улыбаетесь? — спросила г-жа Дюфур.

— Ничему, — ответил он. — Я надеюсь, вот и все. Я согласен с мнением вашей дочери. Война эта будет для нас кратковременна и радостна.

— Я сама хотела бы думать, как вы, мой милый. Но только мы должны принять те же меры, как если бы она длилась долго, очень долго.

— Да, сударыня.

— Так что начните с жестяных изделий. Укажу вам на лоханки. Мне кажется, у нас имеются только из гальванизированного листового железа.

— У нас только такие и спрашивают.

И пока она без конца обозревала медные лоханки, противни, грелки и насосы, Арсену казалось, что лампа, только что освещавшая комнату, как мощное солнце,

горит теперь скудным светом. Банальное убранство этой столовой, с ее буфетом в стиле Генриха III, со ставными скульптурами и олеографическими *natures mortes* сменило блеск его недавнего видения.

Г-жа Дюфур занялась с карандашом в руке сложными вычислениями на полях газеты. Матильда взялась за вышивание.

И только начинавшая засыпать собака не спускала с него своих мигающих глаз.

* * *

— А где Дюфур? — спросил Тардьё, явившийся на этот раз в сопровождении своей супруги.

Г-жа Дюфур ответила усталым жестом.

— Извините, что мы пришли, — снова заговорил Тардьё. — Но у нас явилась прямо потребность повидаться с ним. Мы не уснули бы иначе. Впрочем, и Белиары следуют за нами, и Пакотт тоже придет.

— Мне самой еще больше не терпится, прямо лихорадка бьет, — ответила госпожа Дюфур. — Однако, чем же мне вас угостить пока? Пивом... хотите пива?

— Мы не затем пришли, чтобы освежиться... Прошу вас...

— Все равно... такая жара!.. Матильда, позови, пожалуйста, Зели... Правда, она моет посуду... Арсен, будьте добреньким, сбегайте к Никола.

— С большой охотой, сударыня.

А когда он вышел на улицу, то заметил, что перед лавкой скобяными изделиями остановился автомобиль Мукенов.

Мукен, разбогатевший на живодерстве и сам похотевший на тучную лошадь, относился к своему старому другу Дюфур с безграничным восхищением, с примесью

некоторого фанатизма, которого он никак не мог объяснить даже самому себе. Он охотно признавался, что, слушая его, он испытывал больше удовольствия, нежели когда бывал в театре!

Что касается г-жи Мукен, то она была интимным врагом г-жи Дюфур. У нее тоже была дочь; но дочь эта была, к несчастью, альбиноска, и эта особенность очень затрудняла дело ее замужества, несмотря на кругленькую сумму ее приданого. Эти две женщины не могли встретиться без того, чтобы не уколоть друг друга по поводу своих чад. Как только они сходились, то сейчас же становились в боевую позицию, точь-в-точь как две включенные курицы!

Как только Арсен, нагруженный пивными кружками, толкнул дверь в столовую, г-жа Мукен, выставившая на своей могучей груди все свои драгоценности, смерила его взглядом через лорнет.

— Скажите пожалуйста,—сказала она,—ваш приказчик сидит сегодня за вашим семейным столом. Это очень мило.

— Арсен просто предложил составить нам компанию по случаю отсутствия моего мужа,—ответила г-жа Дюфур.

— Понятно, что ему приятнее есть здесь, чем в комнате за лавкою. Держу пари, что он предпочитает сидеть против вашей очаровательной Матильды, чем против приказчицы из магазина, не правда ли?

Арсен чуть не уронил последнюю кружку, которую он еще прижимал к себе локтем.

— А ваша дорогая Мадлен?—с кислой улыбкой отпарировала г-жа Дюфур.—Наверное окулист запрещает ей выходить по вечерам. Я, напротив, думала, что ночью такие люди лучше себя чувствуют, чем при дневном свете.

Пока они вносили таким образом в свою беседу ожесточение дуэлистов, мужчины обменивались ничего не значащими вялыми замечаниями. Они решили, что бесполезно, в виду отсутствия их друга, высказывать какое бы то ни было мнение.

Вдруг распахнулась дверь.

Словно свет распространился по комнате.

На пороге стоял Дюфур со шляпою в руке!

Он обвел всех присутствующих взглядом, в котором сверкало торжество. И так долго сдерживаемое им слово, слово, увенчивавшее, так сказать, карьеру патриота, естественно сорвалось с его уст:

— Наконец!—проговорил он.

Как только он произнес это слово, все поняли, что теперь можно им завладеть. К нему протянулись руки, его поздравляли, словно с личным успехом.

Затем посыпались вопросы.

— Пощадите,—перебил Мукен,—вы его оглушаете... Я пришел за тем, чтобы послушать его... Дайте ему возможность говорить!

Дюфур сел. Свет висячей лампы освещал его, как ореолом.

Он был красив, действительно очень красив, с гордой посадкой головы, свежий и розовый, что поражало в человеке его лет. Только к тридцати годам он решился сделать себе Ван-Дейковскую голову. Тогда он отпустил козлиную бородку и стал зачесывать волосы назад.

— Итак?—спросил Мукен.

— Итак, друзья мои, что вам сказать? Едва только на башне отечества пробил час бессмертного крестового похода, мне захотелось пощупать народный пульс. Я только что приобщился толпе. И я успокоился. Я больше чем успокоился, я счастлив! Перед этим можно стать на колени! Честь и слава Парижу! Париж великолепен!

Радостная решимость светится на всех лицах. Все напряжено, все трепещет! В окнах развеваются знамена. Цыганские оркестры играют марсельезу! И все, вплоть до детей, распевают этот гимн мщения! Прибавлю, наконец, что на всем пути я не встретил ни одного пьяного. Правда, говорю вам, сердца готовы!

— Браво!—вырвалось у Мукена.

— Да, мы дышали порочным воздухом, воздухом, отравленным гнилыми испарениями разлагающегося режима. Но огненный меч пересек наше небо... И чудо свершилось!

Он замолчал. И в последовавшем взволнованном молчании слышалось только дыхание Мукена, вырывающееся у него носовым звуком, очень похожим на звук детской трубы.

— Кстати,—сказал Дюфур, обращаясь к своей жене,—я забыл предупредить тебя об одном. Я пригласил гостя.

— Гостя?

— Да. Старого храбреца, которого я выудил в толпе, участника всех наших патриотических годовщин; он стрелял некогда в Бурже и в Шампиньи. Это—знаменосец нашей группы старых борцов 70-го года.

В самом деле, Дюфур, которому в 1870 году было всего семь лет, был, в знак особого внимания, принят в число членов этого общества.

— По крайней мере, мы его знаем, твоего гостя?—спросила г-жа Дюфур.—Как его зовут?

— Не знаю и никогда не знал этого. Но что за важность! Он—француз. Так его зовут сегодня. Впрочем, он займет мое место.

— Ну, а ты?.. Разве ты не будешь обедать?

— Я не голоден. Меня насытил воздух, которым я дышал.

При последних словах на его губах появилось нечто в роде одухотворенной и в то же время очень глупой улыбки.

Но внезапно лицо его омрачилось. Он подбежал к окну и так поспешно открыл ставни, словно боялся задохнуться.

— Я так и знал!—воскликнул он.—Его забыли.

— Что забыли?—спросила жена.—Если тебе что-нибудь нужно, девушка пойдет и принесет.

— Нет... нет... только не прислуга! Я сам пойду... Это мое дело... Пойдемте со мною на чердак, Арсен!

И Арсен, к которому он прикоснулся только кончиками пальцев, вскочил, как наэлектризованный.

Как только они вышли, присутствующие обменялись вопросительными взглядами. Г-жа Дюфур обнаружила своим жестом, что она ничего не поняла в этой сцене.

Затем Мукен постучал кулаком по столу.

— Что за человек!—в восторге вскричал он.

— Как он вошел!—прибавил Пакотт.—Да, нечего говорить, он превзошел самого себя.

— Вы слышали, а, как он говорил о Франции, о Париже и о наших ко всему готовых сердцах!

— А этот огненный меч!.. О нет, он не обманул нас!

— И вы знаете, он в двадцать лет был такой же, как теперь!—уверяла г-жа Дюфур.

— Очень просто,—определил Белиар,—когда я слушаю его, это производит на меня впечатление 14-го Июля. Мне кажется, что я в Лоншане и что перед моими глазами проходят полки с барабанным боем.

— И это обаяние!

— Спрашивается, почему такой человек — не министр!—воскликнул Мукен.

Все повернулись к нему. Всем показалось немного досадным, почему этому толстому Мукену первому пришло в голову подчеркнуть эту несправедливость. Как это, в самом деле, случилось, что Дюфур вместо того, чтобы быть министром, остается простым лавочником? Разве само небо не одарило его способностью комментировать с несравненным блеском великие национальные события? И что же? Почему он столько времени ограничивается ролью оракула в своем квартале? Почему он довольствуется тем, что потрясает сердца только своих окружающих?

— Кто мне скажет, почему?—повторил гордый собою Мукен.— А между тем такие-то именно люди нам и нужны.

— Вместо всех этих парламентских марионеток и петрушек.

— Вместо всех этих любителей ловить рыбку в мутной воде.

— Всех этих бездельников!

Но кто-то вошел в комнату.

То был старик с губчатым носом; улыбка его открывала двойной ряд сплошь черных зубов.

— Здесь живет Дюфур?—спросил он.

— Да, здесь.

— Дверь в переднюю была открыта, и я позволил себе войти.

— Скажите прежде всего, кто вы?

— Я, сударыня, знаменосец.

— Тот, которого пригласил мой муж?

— Так точно. Я пришел, чтобы поесть...

— Хорошо. Если так, то садитесь, пожалуйста,—сказала г-жа Дюфур, открывая суповую миску.

Неловкость, вызванная этим появлением, была, к счастью, непродолжительна; появился Дюфур, прижавший к груди трехцветное знамя.

— А, вот и ты,—сказал он, увидев своего гостя.

Тот даже не повернул головы и продолжал макать в суп огромные ломти хлеба, придавшие ему скоро вид собачьей похлебки.

Широким жестом Дюфур развернул свое знамя, затрепетавшее над головами присутствующих. Древко он укрепил на подоконнике. Затем он снова заговорил.

На этот раз это было необыкновенное пошурри, где перемешивались трепетные слова об ужасах мира и о богатой жатве героизма, которая взойдет на французской земле, о тенях великих предков, о Фермопилах и Каталаунских полях; все это, начиненное техническими рассуждениями о несокрушимости наших восточных стен и управлении нашими 75-ти миллиметровыми пушками!

Его голос приобрел такую звучность, что на тротуаре, по ту сторону улицы, собралась небольшая кучка любопытных.

И пока он разглагольствовал, снова опьяненный, жена его, подойдя к нему, время от времени вытирала ему шею своим носовым платком.

К несчастью, знаменосец, прополоскав глотком вина рот, вздумал вставить слово.

— А я, вот,—прошамкал он,—расскажу вам кое-что другое... какую штучку выкинули вольные стрелки с пруссачками в 70-м году. И потом, то, что я вам скажу, это, знаете ли, не обольстительные речи на гусином жиру, это вам не шутки.

— На что это вы намекаете? Кто здесь выступает с обольстительными речами?—спросил его Мукен, который вдруг сильно покраснел.

— Пожалуйста,—остановил его Дюфур,—пусть он говорит. Этот человек представляет здесь поколение, жестоко пострадавшее и жестоко униженное. Пусть он говорит, и слова его послужат нам наукою.

— Хорошо,—начал тот.—Нас было трое. Там был Буаро, Амедей и я. Это было близ моста в Шампиньи. Вы, конечно, знаете мост в Шампиньи, который возле Экю де Франс, на Марне?

— Ну, и что же тогда?—торопил его Мукен.

— Тогда мы забрались в паровой котел, который Буаро изрешетил дырами. Мы перетасили туда бутылки с вином и ружья... И принялись стрелять, между двумя глотками, из этих дыр по кайзерлихам... Ну, и переколотили же мы их, нечего сказать! Они валились, как чурки!

— Что это еще за болтовня такая!—возмущился Пакотт.

— Это, болтовня!.. В таком случае вы станете, пожалуй, утверждать, что на откосе не было паровика и что не было альбошей на том берегу... а также скажете, что генерал Дюкро не явился лично поздравить нас. Ладно, брат!

Арсен, хорошо понявший, какое впечатление произвел этот дурацкий рассказ, разозлился до-нельзя.

Но вмешался Дюфур.

— Другое время — другая война,—объявил он.—Надо относиться с уважением к прошлому.

— Еще бы... Да и стреляли вот так целый день. И еще пьяны были к тому же!

— У прошлого свое величие,—продолжал Дюфур.— Но что умерло, то умерло! Эта война, которая сейчас начинается, будет больше всех войн, когда-либо виденных миром. Но она будет и самая славная, потому что мы будем сражаться за Право!

— Сожалея только,—прибавил Белиар,—что мы не можем рисковать нашей шкурой.

— Что ты сказал?—привскочил Дюфур, на которого замечание это подействовало, как холодный душ.

— Я говорю, что в 70-м году мы были слишком молоды, а теперь слишком стары!

— Нас пошлют на места в двадцать су,—бессознательно пошутил Пакотт.

— Вместе с инвалидами!

Все, не исключая Мукена, старались вмешаться в разговор и прибавить кое-что от себя, не замечая, что шутки эти действуют на Дюфура, как снаряды.

— Мне пятьдесят четыре года,—шутил Пакотт.—Мы, старина, с тобой одного призыва.

Дюфур чувствовал, что теряет под ногами почву.

Но в ту же минуту взгляд его встретился со взглядом Арсена, его предполагаемого зятя. Он подумал, что Арсен был бы отчасти его представителем при великом жертвоприношении, и понял, что этим может возвысить себя.

— Вы числитесь, конечно, в боевых войсках?—спросил он его.

— Да, г. Дюфур.

— Ведь вас направят в Туль?

— Именно в Туль.

— То-есть прямо навстречу опасности!

— Таково мое счастье.

— Хорошо сказано, дитя мое. Вы, значит, будете драться за то, чтобы мы высоко могли держать голову. Не скрою от вас, что война, повидимому, будет жестокая, это будет самая ужасная бойня в истории. Но должен вам также сказать, что те, кто переживет ее, заслужат нашу безграничную признательность. Им мы не будем иметь права отказать ни в чем. Мы должны будем удовлетворить их самые дорогие желания, самые тайные...

— Друг мой... друг мой... — перебила его жена, сидевшая, как на горячих углях.

— Что касается меня,—продолжал он,—то я с радостью раскрою вам объятия, когда вы, вместе с другими, вернетесь к нам, увенчанный славою, под трепещущим крылом победы... Арсен, позвольте мне, не ожидая дальнейшего, назвать вас «своим сыном»!

Тот поднялся с места, весь бледный.

Его мечта осуществилась!

— Патрис, прошу тебя,—повторила г-жа Дюфур.

Но г-жа Мукен уже нагнулась к ней:

— О, я не знала, что дела зашли у вас так далеко,—прошептала она.—Ведь это почти обручение. Поздравляю вас.

— Я не знаю, что с Патрисом,—вскричала г-жа Дюфур.—Ведь еще ничего не решено. И потом, дело главным образом касается Матильды.

— Ну, стоит только взглянуть на нее, и легко заметить, что ее выбор уже сделан.

Матильда, чтобы скрыть смущение, ласкала собачонку и хранила молчание, которое, действительно, можно было принять за согласие.

Что касается гостей, то они теснились вокруг Арсена, стремясь выказать ему свою симпатию горячими рукопожатиями, которые, по пути, перехватывал Дюфур.

— А теперь,—приказал он,—раскройте настежь окна!

Затем он стал позади своего знамени, положив руку на плечо приказчику, словно представляя его толпе.

Наступила ночь.

Торжественная улица кипела. Целые семьи прогуливались плотными группами. Свет уличных фонарей освещал двадцатилетние бледные, но решительные лица. Теперь отцы следовали за своими сыновьями, гордые тем, что те ведут их. И все это текло, как темная река, увлекаемая таинственным и верным течением.

Слова, пение, прощания сливались в смутный гул, пронизываемый криками продавцов газет, листы которых усеивали бледными движущимися пятнами уличный мрак.

И, словно голос этой толпы, послышалась вдали марсельеза!

* * *

Гости, один за другим, простились с Дюфурами, за исключением Арсена, считавшего, что теперь он в праве принять участие в семейных излияниях.

Вскоре Дюфур заметил, что проголодался. Он обошел вокруг стола, но старый боец 70-го года, которого он притащил к себе, постарался очистить все блюда.

— Ничего больше нет?—спросил он.

И такое разочарование послышалось в этом восклицании, что г-жа Дюфур, ставшая на ночь постели, вернулась второпях.

— И сказать только, что я забыла о тебе! Где же была моя голова сегодня!

Она осмотрела чулан для провизии, но нашла там только немножко макарон, засохших между двумя тарелками.

— Ну, что ж, удовольствуюсь этим,—вздыхнул г-н Дюфур, с видом человека, которого распинают.

Закусив таким образом, он уселся в кресло. Глаза его тихо заморгали. Затем он уснул.

Г-жа Дюфур села около своего мужа, Арсен воспользовался этим и подсел к Матильде. Он ничего не говорил. Он наслаждался молчанием.

Дюфур спал чутким и как бы сознательным сном, сном, вполне соответствующим важности момента.

Но мимо пронесся военный автомобиль, и весь дом затрясся. Дюфур вскочил, ошалелый.

— Да где же я?

— С нами, мой друг, ты просто вздремнул,—сказала ему жена.

— Я вздремнул!

— Ты имел на это полное право после такого дня! Силы человека имеют предел.

— Ты права.

— Ну, пойдем.

И она поддерживала его, пока он, спотыкаясь, не дошел до своей постели, в то время как Арсен, прежде чем удалиться, окинул Матильду взглядом, который кричал ей об его любви.

* * *

Арсен спал в смежной с лавкой каморке, размеры которой делали ее похожей скорее на большой стеной шкаф, чем на комнату.

Когда он нырнул меж простынь, он заметил, при дрожащем отблеске свечи, на мраморе своего ночного столика маленькую серебряную медаль, на которой были выгравированы слова: «На счастье». Он уже видел однажды это скромное украшение у Мари, смиренной служанки в магазине, когда она как-то опустилась на колени, чтобы вытереть пятно на паркете.

С минуту он колебался.

Но медаль, в ушко которой был продет шелковый шнурочек, стояла не больше десяти су.

И он благоговейно надел ее на шею.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Самые ранние воспоминания детства всегда рисовали Арсену одну и ту же спокойную картину: кроткую молодую женщину с парализованными ногами, постоянно сидевшую у окна в большом кресле...

Его мать!

И он видел самого себя, совсем еще ребенком, прикурнувшего, словно в теплом гнездышке, в складках ее платья; там он тихонько играл между бедными бесильными ногами, прикосновение к которым вызывало в нем, однако, чувство полнейшей безопасности.

Когда он подрос настолько, что мог уже ходить в школу, столяр деревни, где он жил, подарил ему деревянный ящик, который он повесил себе на спину вместо ранца.

Школьники окружили его шумным роем; но он предпочитал тишину материнской хижины их буйному веселью.

И по окончании уроков, вместо того, чтобы оставаться с ними и бросать камушки в кусты, кишевшие птицами, или на замерзшие пруды, зимою, он пускался бегом по дороге с единственной целью поскорее поцеловать ту, которая у окна подкарауливала его возвращение.

Тогда он подкладывал горячих углей в грелку для ног, запирали ставни и при свете свечи, стоявшей позади шара, наполненного водою, садился за работу.

Затем, приготовив уроки, он устраивался опять около своей молодой мамы.

То был час самый благословенный из всех, час, когда чудесные сказки, которые она ему рассказывала, ласкали безграничным очарованием его детское воображение.

Сказки эти мгновенно переносили его в эфемерный мир, населенный пестрыми видениями.

Там были феи, одетые в изменчивые цвета, превращавшие ударом волшебной палочки тыкву в коляску, ящериц—в лакеев, принцесс—в белых кошек. Там была королева Маб, прогуливавшаяся в крошечной каретке, запряженной бабочками; карлик Оберон, умевший в секунду построить роскошный дворец; волшебник Мерлин и целая свита легких эльфов и домовых.

Иногда она пела ему песенки, кроткие, как жалоба ветерка в камине; или перелистывала с ним книжки с картинками, которые давал им учитель; одна из этих книжек изображала всевозможных животных, одетых, как люди.

А чтобы продлить смех ребенка, она подчинялась самым неожиданным его капризам.

Она выдувала ему из глиняной трубки мыльные пузыри, а он гонял их по всем четырем углам комнаты, хлопая в ладоши. Она позволяла ему приводить в комнату ягненка соседки, блявшего от скуки где-то между стен.

Он помнил, что она позволила ему даже впустить несколько головастиков, которых он поймал в соседнем болоте, в наполненный водою шар, служивший им для освещения, и как долгое время потом их тени мелькали на страницах его тетради.

Но однажды вечером над смиренной кровлей разразилось несчастье!

Он вернулся из школы в снежную бурю. И когда он, на пороге, топал деревянными башмаками, чтобы отряхнуть приставшие к ним толстые белые подошвы, старуха, которую он раньше никогда у них не видел, схватила его за руку и поставила на колени на стул около материнского ложа.

— Молись!—приказала она ему.

Он добросовестно пробормотал несколько молитв и затем поднял глаза.

И вот, вместо одной старухи он увидел двух.

Они были по обе стороны кровати.

И пока одна из них поддерживала его мать, другая расчесывала гребнем ее длинные белокурые волосы, которые она потом заплела в косу.

Он со страхом задавал себе вопрос, как же это так случилось, что мать еще не улыбнулась ему.

Каждый раз, как он возвращался домой, ее первым жестом было раскрыть ему объятия. А сегодня она оставалась неподвижной, с оледеневшим взглядом, в котором не светилось больше ни капли любви. Почему она не говорит с ним?

— Мама!—закричал он.

Тогда он заметил, что голова, которую только что осторожно уложили, так же бела, как подушка.

На простыне лежала ветка букса.

Арсен грохнулся на пол.

Но та из соседок, которая открыла ему дверь, тотчас же подняла его на ноги.

— Теперь—сказала она,—ребенок все понял, и я уведу его.

И, взяв его за руку, она увела его довольно далеко к знакомой фермерше.

Шел густой снег.

Чтобы укрыть его, она накинула ему на голову край своей длинной пелерины.

Он, как слепой, шел в этом потоке снежинок, плывших перед ним при свете фонаря.

Был час обеда.

Вокруг стола толпилось много детей, которые из всех сил дули на чашки с дымящимися щами, приправленными салом и свиной.

За десертом фермерша, оставившая старуху обедать только затем, чтобы узнать о подробностях, принялась ее жадно расспрашивать.

— Это приключилось с нею вдруг,—пронзительным голосом рассказывала соседка.—По-моему, это болезнь ног кинулась ей на сердце. Мы с улицы услышали, как она стонала. Она кричала, что не хочет умереть, пока малыш не вернется!

— Потихе,—сказала фермерша.

— Она все время просила нас смотреть в окно. Она только и говорила, что о снеге да о школе, которая так далеко... Ах, если бы вы слышали, как она говорила!

— Тише... тише!

Арсен, ни слова не упустивший из этого рассказа, почувствовал, как горло его сжалось почти до удушья; но ему на тарелку положили большой блин с вишнями, и он удержался от слез.

Когда убрали со стола, фермерша, желая поболтать всласть, отправила детей под навес очага.

Они столпились у трещавшего пламени.

— Во что мы будем играть?—спросил старший из детей.

— Давайте играть в покойницу,—весело предложила маленькая девочка, глядя на Арсена.

И только тогда, подавленный своим горем, он разразился рыданиями.

* * *

Так как он остался один на свете, без денег и без поддержки, община решила позаботиться о нем.

Таким образом в нем рано созрело чувство, что он не так независим, как другие, и всегда будет чем-нибудь обязан любезности ближних; таким образом он привык соглашаться, не возмущаясь, покорно, на все ограничения, которые сильные навязывают слабым.

Пятнадцати лет его поместили надзирателем в убежище для слепых. В том возрасте, когда человек больше всего нуждается в свете и в свободе, он находил вполне естественным, что его заперли в здании, бывшем раньше тюрьмой, и что для прогулок ему отведен двор, куда и свет, казалось, проникал неохотно.

В обществе этих обездоленных он прожил целые годы и каждое воскресенье водил их гулять.

Во время этих прогулок по деревне он считал своею обязанностью объяснять слепым изменчивую панораму, которую охватывал его взгляд. Он старался, например, описать им вид снега, окутывавшего землю сплошной пеленой до горизонта или выросшего белым галуном на самых тоненьких былинках. Он им говорил о придорожных тополях, дружно склоняющихся под налетевшим ветром, об изменчивой форме облаков и о пожаре закатов, на которых вороны стаи вырисовываются, как дым.

Слепые слушали его, держась за руки и обратившись бесстрастными лицами в разные стороны. А он думал, что за это они простят ему полученный им дар видеть свет.

Пройдя через казарму, где он был добросовестным солдатом, гордившимся своим мундиром, он приехал в Париж, снабженный несколькими рекомендательными письмами, которые он получил от своего начальства.

Но всюду ему отвечали отказом.

Когда у него истощились все средства, он занялся перепискою и раздачей контрамарок на пороге кабаков низшего пошиба.

Жил он в вечном страхе завтрашнего дня.

Он пережил ужасные часы, когда на улице искал какой-нибудь работы, — отнести чемодан или разгрузить воз.

Он познал — что еще гораздо хуже — вечера полной заброшенности, когда завидуешь судьбе нищего, который может, по крайней мере, пожаловаться другим, себе подобным.

Огромный, захвативший его город катил его по волье своего безжалостного потока.

Он совсем уже утопал, как вдруг прочел однажды в окне скобяной торговли, рядом с факсимиле бесчисленных медалей, объявление о том, что требуется приказчик.

Он собрал последние остатки своего мужества и вошел.

Молва о г. Патрисе Дюфуре достигла и до него, в его глухом тупике, где он снимал понедельно жалкую комнатку. Он даже видел его несколько раз на улице Клиньякур, когда он, с величием облака, медленно шествовал впереди группы своих учеников.

Этот почтенный коммерсант сказал ему прежде всего, что так как он скоро займется крупным предприятием, успех которого должен будет положить конец унижительной зависимости французской печной промышленности, то он ищет приказчика, на которого мог бы возложить все занятия по лавочке.

Сказав это, он смерил его взглядом с головы до ног, изучил с лица и в профиль; еще немного, и он подверг бы его врачебному осмотру. Потом, поговорив

с ним тоном судебного следователя, он спросил у него его солдатскую книжку, которую раскрыл на странице взысканий. Увидав, что она девственно чиста, он сейчас же принял его на службу.

Это было спасением!

Крупное предприятие Дюфура состояло в том, что он хотел заняться распространением особой экономической печки, собственного изобретения, которую он называл печью-брасеро. Так как он на все смотрел широко, то начал с того, что стал скупать целые партии листового железа и строить в предместье механическую мастерскую, которая могла укрыть целую армию рабочих.

Эта печь-брасеро должна была вырвать их из пут неблагоприятной торговли и открыть им блеск великолепной и беззаботной жизни. И семья Дюфур жила в золотом мираже. Они уже видели, как проводят август месяц в Довилле, вместо того, чтобы торчать на пляже Сент-Обен, названном г-жею Мукен вшивой дырой; место обыкновенного хориста, дающего уроки пения Матильде, займет великолепный тенор; а кататься будут только в мягкой клетке закрытого автомобиля, который будет непременно оливкового цвета и освещаться электричеством.

Арсен, понятно, отодвигался на один план с жалкой маленькой лавочкой.

Г-жа Дюфур командовала им с высоты своего бюро. Г-жа Дюфур говорила с ним не иначе, как с горькой гримаской osoby, которой положили на кончик языка немножко ипекакуаны.

Но это почти нескрываемое презрение не мешало ему благословлять судьбу.

После молодости, лишенной привязанностей, после долгого одиночества, от которого он так жестоко страдал, эта семья представлялась ему убежищем, спаси-

тельной гаванью, к которой пристаешь после долгого качания на волнах. Она приносила ему иллюзию семейного очага!

А потом там была Мари, скромная служанка при магазине, на которую он считал долгом смотреть, как на ровню, и которая была для него драгоценным товарищем.

Ему часто случалось завтракать вместе с нею в задней комнатке под горелкою Ауэра. Там они засиживались, положив локти на стол, задушевно беседуя, при чем взаимно утешали друг друга. Кончилось тем, что он изливался перед нею во всех самых смутных желаниях, наполнявших его сердце. Она стала его лучшим другом, поверенной его души.

Тогда именно возникло довольно заурядное обстоятельство, чудесно преобразившее всю жизнь Арсена.

Его хозяева, твердо верившие в будущность своего дела, решили потратиться на устройство празднества у Дегува, ресторатора у Порт-Майо. Они считали, что этот способ отплатить за кое-какие любезности, оказанные им Мукенами и другими, менее важными особами, единственно отвечает тем великим ожиданиям, ореолом которых они как-будто уже окружены.

Арсен только и слышал разговоров, что об этом празднике, на который он не был приглашен, и о бале, который должен был увенчать его. Особенно бал рисовался его воображению в самых феерических красках. Он знал, что Матильда явится туда в розовом тюлевом платье, заказанном у портнихи г-жи Мукен. И представление об этом блестящем веселье распаляло его мозг молодого провинциала.

Впрочем, уже в течение некоторого времени душа его наслаждалась странными химерами. Перемена эта явилась с первым дыханием весны. Он глотал фельетонные романы, переживая в воображении светские

интриги действующих лиц, страдая их страданиями. Иногда он останавливался посреди лавки, устремив взгляд в пространство. Отзвук простого романа, который пел во дворе козлиным голосом какой-нибудь нищий, повергал его в пучину мечтаний.

— Что же вы, друг мой,—кричала ему в таких случаях г-жа Дюфур,—Людовик XVI давно уже умер, не стоит об этом думать!

Но однажды Дюфур, взявший его под свое покровительство и полагавший, что молодой человек потрясен каким-то неизлечимым горем, отечески положил ему руку на плечо и, желая доставить ему здоровое развлечение, пригласил его на этот вечер. Арсен так обрадовался и так остолбенел, что не нашел в себе силы даже поблагодарить его.

Это был его первый бал.

Наступил великий день; он занял фрак у своего друга Дютара, помощника аптекаря, и задолго до назначенного часа отправился к Порт-Майо.

Он шел в сумерках чудного воскресного дня. С упоением вдыхал он воздух, напоенный ароматами, которые неслись от тележек с цветами катившихся домой. Из леса возвращались пары; девушки преувеличивали свою усталость, чтобы крепче опереться на руку влюбленного; они без всякого повода смеялись, глаза у них были томные, а шляпы они расклевывали, держа их за ленты.

И вид этих пар вызвал в нем тоску по неизвестному счастью.

За линией укреплений выступал под сводом огней, зажженных еще среди дня, праздник в Нейи.

Никогда еще не чувствовал себя Арсен так легко. Никогда еще не испытывал он так живо счастья жизни.

Дегув, зал для свадеб и вечеров.

Во всех этажах освещение и шум. Взрывы шумного веселья, изливавшиеся сквозь все отверстия здания вместе с запахами кухни и ритурнелями, на минуту задержали его на тротуаре.

Когда он решился, наконец, войти, под люстрами теснилось довольно уже разгоряченное общество.

Таперша заиграла лансье.

Он сделал несколько шагов, и первая, кого он увидел в этой ослепительной обстановке, была Матильда.

Ее только что пригласил танцевать молодой политехник, которого постоянно ставили в пример как у Тардье, так и у Белиаров и Пакоттов и перед которым склонялся даже сам Дюфур.

В первый раз представилась Арсену возможность видеть ее так близко, дышать одним воздухом с нею; мать ее из принципа не позволяла ей показываться в лавке.

И он тотчас же был ослеплен!

Строгость, которую политехник вносил в каждый свой поклон, методичность всех его движений еще больше подчеркивали ее смеющуюся, детскую грацию.

Не уставая, Арсен смотрел на нее, восхищался в ней всем, ее тюлевым платьем, окружавшим ее розовым ореолом, ее пушистыми белокурыми волосами, которые ночью ветерок приподнимал на затылке каждый раз, как она проходила мимо открытого окна, плутовством ее улыбки, живостью ее жестов и даже мельканием ее маленьких, проворных ножек, затянутых в атлас.

При последнем аккорде пары разделились.

Желая сохранить спокойный вид, он притворился, что слушает толстяка Мукена, который принялся расхваливать ему последние подвиги Дюфура, пожирая с циничным сластолюбием бутерброд с ветчиною.

Пока живодер разглагольствовал заглушенным, вследствие упорного пережевывания, голосом, Арсеном овладела бессознательная ярость.

Он хотел, по примеру других, отличаться, порхать, нашептывать остроумные шуточки, от которых красавицы смеялись бы, закрываясь веером. Если бы не его врожденная робость, он пустился бы скользить по этому навощенному, сверкающему паркету.

Ах, если бы у него была непринужденность этого молодого человека, который склонился над корсажем г-жи Мукен, с его безупречным пластроном, обрамленным кремовым шелком, или щегольская походка этого драгунского унтер-офицера, маленькую голову которого словно поддерживает белый суконный ворот.

Он предавался этим меланхолическим размышлениям, когда г. Дюфур, схватив его за руку, счел долгом представить его своей дочери.

В эту минуту он испытал, пожалуй, самое сильное волнение в жизни.

Он поклонился, улыбнулся и пробормотал несколько совершенно бессмысленных слов. И он едва успел понять, что Матильда, уже повернувшаяся на каблучках, записала за ним мазурку в своей бальной книжечке.

Чтобы оправиться от волнения, он укрылся в углу зала, позади ряда пожилых дам, которые судачили все разом. От их группы несли такой же шум, как от клетки с попугаями.

Под прикрытием этой неприступной крепости он мог вволю предаваться радости, переполнявшей его душу.

И пока Матильда, опьяненная удовольствием, отдавалась объятиям танцоров, он чувствовал, что в нем совершается медленная метаморфоза. В него проникала любовь, она овладевала его душою. Он становился другим человеком, более возвышенным, более чистым. Он

одухотворялся. Это неожиданное откровение погружало его в несказанный восторг.

Итак, мечты, томившие его уже целые недели, до слез его смущавшие, эти смутные стремления и все это волнение—это была любовь!

Между тем, scottish сменялись вальсами, а вальсы — кадрилями!

Время казалось ему нескончаемо долгим. С безразличным видом проскользнул он к таперше.

Она только что развернула на юпитре мазурку.

Он направился к Матильде. Наконец настал и его черед!

Рука, которую он протянул к ней, слегка дрожала. Но Матильда пожаловалась на внезапную усталость и на жару. У нее слегка кружилась голова.

— Не проводите ли вы меня на балкон? — спросила она, взяв его под руку. — Я думаю, воздух поможет мне.

Просьба эта не только не огорчила его, но укрепила его надежду. Она показала ему более убедительным знаком доверия, чем простая мазурка. Итак, судьба его определяется!

Он усадил ее в кресло, и ночь окутала своей мягкой ласкою их обоих.

Чтобы она не простудилась, он побежал за ее боа из перьев и накинул его ей на плечи. Затем он спросил, не желает ли она пригубить бокал шампанского.

Она уронила веер, и они оба нагнулись, чтобы поднять его; при этом движении их руки коснулись одна другой.

Тогда он начал говорить ей очень тихо, беспокоясь об ее здоровья, уверяя ее, что ей уже лучше.

Почти конфиденциальным тоном нашептывал он ей эти банальности. И каждый раз, как на его губы напращивалось более нежное слово, у него голос пресекался.

Мысль, что она может догадаться о причине его смущения, наполняла его восхитительным блаженством.

И скоро ему этого уже было мало.

Он так осмелел, что захотел узнать, какого рода чувства он вызывает в ней.

Брошенные из зала серпантины обвилились вокруг ее шеи; он наклонился, чтобы тихонько, упиваясь теплым ароматом, исходившим от ее плеч, разорвать одну за другой опутавшие ее хрупкие бумажные ленты.

И вот, в эту самую минуту он услышал, как она отказалась от приглашения проходившего мимо танцора. Он вообразил, что она хочет продлить их очаровательный tête à tête. Опыт был убедительным!

И он почувствовал, как к его радости примешивается тихая гордость.

И, подняв валявшееся котильонное украшение, он стал при свете звезд обмахивать им ее, в то время как звуки лансье звучали за ними все яростнее.

Томность этой звездной ночи, разноцветные огни, уходившие аллеей до самой Сены под шум праздника, звуки охотничьих рогов из Луна-Парка, пронзительные вскрикивания женщин, увлекаемых летящими вниз салазками, — весь этот блеск, весь этот гул довершили его опьянение.

Он колебался, стоя на рубеже нового мира.

Но понемногу бал затих.

Г-жа Дюфур, желая воспользоваться автомобилем Мукенов, пришла за своей дочерью.

И снова он очутился в одиночестве на авеню Великой Армии.

Ярмарочные бараки и Луна-Парк под покровом тьмы отдыхали.

Он оглянулся вокруг.

В густой тьме оставалась только одна светящаяся реклама, которая продолжала упорно вспыхивать.

Дворец иллюзий.

При виде этого, сверкавшего огненными буквами, объявления Арсен не мог побороть внезапной грусти.

Иллюзии!.. Иллюзии!..

Символические слова то загорались, то гасли.

Вот они сверкнули в последний раз.

И осталась только ночь, тяжесть которой он, казалось, чувствовал на своих плечах.

Прошли долгие дни, и он не видел Матильды.

Но новое обстоятельство опять сблизило их.

Случилось, что предприятие с печами-брасеро, от которого ждали обогащения, потерпело крушение. Знаменитые печи эти действовали только при температуре белого каления; иначе они дымили и гасли.

Дюфур был так потрясен этим, что вынужден был лечь в постель. Когда он стал выходить, то первым делом потащился в мастерскую, где ржавели последние его аппараты.

Он оправился немного только тогда, когда министр народного просвещения пожаловал ему за бывшую раньше в Лионе выставку академические пальмы; отличие это совпало с судебной ликвидацией его предприятия.

Не будь лавочки, в которой, впрочем, Арсен делал чудеса, это было бы полное банкротство.

Тогда г-жа Дюфур согласилась оказать ему известное внимание; она решила на это тем охотнее, что исчезла всякая надежда на обеспечение Матильды приданым.

Начали с того, что стали приглашать его к семейному столу; затем ему позволили принимать участие в воскресных пикниках, устраивавшихся под сенью Булонского леса.

Он находил там тысячу случаев быть полезным.

Он носил складные стулья и мешок с провизией; только свою рабочую корзинку г-жа Дюфур из приличия отказывалась давать ему; он отыскивал уединенный уголок, где можно было развернуть скатерть; он ставил приборы, открывал коробки с консервами, нарезал хлеб и откупоривал бутылки, охладив их предвзвешенно в водопаде; он же бегал одним духом к Порт-Майо, если случалось, что забывали взять с собою соль или корнишоны, и он же охотился, по окончании трапезы, за продавцами сластей, возгласы которых, как насмешливый крик лесной птицы, слышались в кустах то тут, то там.

Но зато какая награда, если ему удавалось улизнуть вместе с Матильдой к большим лужайкам, где дикой толпой веселилась молодежь, одержимая особым опьянением горожан, которым мерещится, что они в деревне.

Там он с гордостью сходил за ее кавалера.

И они оба вступали в бесконечные хороводы, перемежавшиеся с веселыми хорами и сумасшедшими преследованиями под цепью слетевшихся рук, и в оживленную до потери дыхания игру в жмурки, когда иной раз Матильда, с завязанными глазами, прежде чем назвать его по имени, удерживала его недолго у себя в плену под крик и смех играющих.

Затем, когда на Эйфелевой башне зажигался маяк, они возвращались домой в пыли, поднятой автомобилями и мебельными фургонами; во время этих возвращений, когда все были утомлены здоровой усталостью, этот милый Арсен, сам не свой от признательности, сгибался, вновь навьюченный мешком для провизии, пустыми бутылками и складными стульями, к чему неизменно прибавлялись рабочая корзинка г-жи Дюфур и вся зелень, сорванная за этот счастливый день.

Милости этим не ограничились.

Ему разрешили приходить каждый вечер перед обедом в гостиную, где Матильда упражнялась за роялем.

Его место было на пуфе, рядом с собачонкой. Только он, чтобы не стеснять собаки, садился на самый краешек.

Но атмосфера, увы, была уже не та.

Во время этих tête à tête, установленных ее родителями, Матильда выказывала себя совсем другой, чем она бывала на воскресных прогулках.

Арсен должен был тогда сказать «прости» веселой не принужденности и смеху, внушавшим ему столько надежд.

В самом деле, когда она говорила с ним, она сжимала губы сердечком, и ее тон обдавал его холодом; или же она делала вид, что занята исключительно невыносимой шавкой, которая спала посреди пуфа, свернувшись клубком и уткнув нос под ляжку, и на все ее ласки отвечала коротким ворчанием.

Иногда он, правда, отваживался отдаленно намекнуть ей на мучения, причиняемые несчастной любовью; но она, повидимому, не понимала его намеков.

И он умолкал, довольствуясь тем, что следил, как бегают по клавишам ее пальцы.

Затем, когда после упражнений Матильда разрешала себе спеть несколько романсов, которые она, смотря по вдохновению, черпала из «Semaine Lyrique» или из «Paris qui chante», он робко приближался к роялю, пользуясь предлогом перелистывать страницы.

Тем не менее, несмотря на постоянные обиды, он ни за что в мире не пропустил бы своего ежедневного визита к ней.

Он был очень щепетилен и, кроме того, был одарен особой честностью чувства, не позволявшей ему оттолкнуть то, что однажды коснулось его души. Он оставался печальным пленником своих воспоминаний.

Единственное, что он позволял себе, когда чересчур сильная печаль овладевала его душою, это пойти к Мари и исповедаться ей. Как ребенок, ищущий утешения, поверял он этому смиренному другу все свое горе, беспощадно передавая ей все подробности и не сознавая, сколько жестокого было в этой игре.

И Мари, всегда полная сочувствия к нему, умудрялась вновь внушить ему утерянную было надежду.

Тогда он возвращался к Матильде. И если страдание его вновь оживало, он отделялся от него, закрывая глаза и переносясь мысленно к иллюзии первого вечера!

.....

Но пришла война, пронизавшая молнией сумрачный горизонт его жизни!

Война, которую Дюфур чуял издалека, как породистая лошадь, которая топчется на месте перед испытанием.

Война с бесчисленными отзвуками, война, которая может все перевернуть вверх дном!

Он кончил тем, что в своем безграничном отчаянии стал горячо призывать ее, с тайной надеждой, что жертва, к которой его призовут, принесет ему награду.

И он не ошибся: своим бурным порывом она развеяла последние сомнения его хозяев, и в трагический вечер 1-го августа Дюфур, в присутствии собравшихся соседей, назвал его «своим сыном»!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Чтобы явиться в Туль в срок, назначенный ему в его мобилизационном листке, Арсену нужно было выехать с Восточного вокзала поездом, уходящим в девять часов вечера.

Он рассчитывал, что ему позволено будет провести большую часть этого дня возле Матильды, что ему подарят эту великую радость и что он таким образом уедет с более легким сердцем.

Но утром, сойдя в лавочку, г-жа Дюфур с грустной улыбкой сообщила ему, что их друг Муken только что полученной телеграммой приглашает их сегодня на завтрак в свою виллу в Сен-Манде.

Она извинилась за эту досадную помеху и дала ему торжественное обещание, что они вернутся во-время, чтобы обнять его перед отъездом.

Поблагодарив ее за доброе намерение, он, как всегда, смирился.

Кое-как убив время за однообразной ежедневной работой, он к вечеру удалился в комнатку за лавочкой, чтобы заняться последними своими приготовлениями.

Вот уже скоро два года, как он привык все обдумывать в тишине этого убежища; там самые дорогие мечты его облекались плотью перед его взором; полумрак комнаты был населен плодами его воображения.

При мысли, что порвется эта хрупкая связь, он почувствовал, как грусть с угрюмой медлительностью овладевает им, словно поднимающаяся вода.

Затем в нем поднялся страх и закружился, как мертвый лист на ветру.

А что, если Дюфуры не вернутся во-время? Значит, он уедет, не повидав Матильды?

Чтобы уйти от этой навязчивой мысли, он решил вынуть из шкапа белье, которое предполагал взять с собою. Но его сломила внезапная усталость, и он присел, положив руку на чемодан.

В комнате было только подобие дня.

Сквозь стеклянную дверь он видел, как Мари работала в магазине.

На ее лице было выражение нестерпимой тоски. Это выражение однажды уже поразило его; это было в тот вечер, когда она помогала ему закрывать лавочку после разграбления молочной Магги. Ему пришло в голову, что, может быть, и у нее есть некто, кого она любит и кто должен покинуть ее, чтобы пойти, как и он, навстречу этой ужасной неизвестности.

О, сколько готовится горя!

Ему казалось, что он слышит огромное стенание, исходящее из этих бесчисленных прощаний, прощаний матерей, жен, невест, и невольно ему стало жалко самого себя.

Разве его не больше жаль, чем других? Он так одинок в этот миг!

На него нахлынули новые мысли, шествовавшие, как тени за похоронными дрогами, траурные мысли, мысли о смерти.

И вот, когда он так страдал от этой несправедливой заброшенности, от этого подавлявшего его одиночества, в то самое время, как ему так хотелось

чувствовать сострадание и утешение, в комнату вошла Мари.

— Вы сидите в темноте?—сказала она. — Что это вам вздумалось!

Он удивился, услышав, что она говорит почти веселым тоном.

А когда она зажгла газ, он увидел, что и вид у нее другой. Выражение горя, бывшее минуту тому назад на ее лице, исчезло, уступив место спокойной улыбке.

— Все мужчины одинаковы,—сказала она.—Чтобы совершать свои великие дела, часто очень мрачные, они готовы потратить массу энергии, они готовы горы с места сдвинуть...

— Например, чтобы убивать друг друга,—попытался и ответить в том же шутливом тоне.

— А если нужно уложить чемодан, вот тут они опускают руки.

— Так оно и было со мной. Перед тем, как вы вошли сюда, я раскрыл свой чемодан, и тут я почувствовал, что погиб, у меня защемило сердце и явилось безумное желание кричать. Это глупо, не правда ли?

— Это другое дело,—пробормотала она.—Сейчас, видите ли, все готовы кричать. Но не будем говорить об этом. Поговорим лучше о том, что вам надо взять с собой... Конечно, только новое белье, это само собой понятно... Все, что требует хоть маленькой починки, мы оставим... Советую вам взять две пары теплых кальсон... вот... И носовых платков, как можно больше...

Он предоставил ей распоряжаться самой. А главное—говорить. Ее слова убаюкивали его, они смягчали его сердечную рану.

Он сравнивал себя с больным, за которым пришли ухаживать.

— Да, Мари... да...

Ничего другого он не говорил. И зачем было ему разговаривать? Разве это не был старый друг, друг, к которому всегда приходишь, когда чувствуешь какое-нибудь горе, и с которым уже не стесняешься?

— И не забудьте,—неожиданно вскричала она,— что у вас еще целый час впереди.

Он подумал, что это размышление вызвано отсутствием Матильды.

— Почему вы говорите мне это?—спросил он, подчеркивая слова.

— Я говорю это для вашего спокойствия, очень просто, по поводу г-на и г-жи Дюфур, опоздание которых вполне естественно. Вы знаете так же хорошо, как и я, что теперь уже не существует расписания поездов. Люди приходят на вокзал и садятся в первый отходящий поезд. Вот и все!

— Да, это правда, Мари.

— Ну, так имейте же немного терпения. Я понимаю, что вам трудно ждать, когда вот-вот надо ехать. Но г. Дюфур не мог отклонить этого приглашения. Его надо извинить. Подумайте: ведь в это ужасное время друзья его более, чем когда бы то ни было, нуждаются в нем, он приносит им спокойствие и доверие. И сам он знает, что должен их поддерживать.

— Да, вы говорите правду.

— Г. Муken, вероятно, и задержал его возможно дольше.

Но пока она своим успокаивающим голосом говорила это, инстинктом подыскивая нужные слова, мысль Арсена улетела.

Он вызвал образ Матильды на вилле в Сен-Манде, сад которой, полный роз и шелеста, был похож на большую корзину с цветами. Ему казалось, что он видит

ее. Она отошла к окну в гостиной, в то время как отец ее, стоя, разглагольствовал среди внимательного кружка слушателей. Она повернулась к нему спиной, нечувствительная к музыке его красноречия. В душистом цветнике царила вечерняя тишина. И лицо ее обратилось к небу, где зажигались звезды... Затем он вообразил себе, что она с задумчивым видом смотрит на крошечные платиновые часики, которые она носила на руке.

Видение это представилось ему с такой ясностью, что он вдруг почувствовал внезапное утешение.

— Конечно,—сказал он,—они скоро вернутся... Вот видите, Мари, несколькими словами вы и успокоили меня.

Она посмотрела на него с немного изумленным видом.

Затем она взяла со столика маленькую коробочку, собираясь уложить в чемодан.

— Что вы там делаете?—спросил он ее.—Ведь это не моя коробочка.

— Простите, м-сье Арсен. Это походная аптечка, мне аптекарь дал ее специально для вас!

— Дал вам для меня!

— Да,—краснея, ответила она.

— Во всяком случае, благодарю вас.

— Вы не станете из-за этого тревожиться. Ведь это простая предосторожность. Впрочем, у каждого солдата должна быть такая аптечка. Таково правило, вы можете прочесть об этом в газетах.

Арсена все более и более трогало выражение этой доброты и кротости, это никогда не утомляющееся внимание.

И пока Мари укладывала в чемодан последнюю рубашку, он заметил, что сегодня вечером она не надела

маленького крестьянского чепчика, который заставляла ее носить г-жа Дюфур, и что она причесалась даже довольно кокетливо, чтобы на нее можно было смотреть, как смотрит мужчина на нравящуюся ему женщину.

— Вот и кончено,—сказала она, завязав чемодан. Если хотите, пройдем теперь в лавку. Там веселее будет ожидать возвращения м-ль Матильды.

Он последовал за нею, послушный, как ребенок.

Бледный свет мерцал еще кое-где на жестяной посуде.

— Хотите, я зажгу?—спросила она.

— Разве это нужно? Так поздно, что, пожалуй, никто уже не зайдет.

— В таком случае я оставлю дверь открытой. Всегда немного веселее, когда видишь улицу и прохожих.

— Вы очень милы, Мари.

— Садитесь вот сюда.

Она придвинула к порогу складное кресло г. Дюфура, в котором он переводил дух между двумя припадками красноречия. Потом она села на скамеечку и принялась свертывать из страниц старой конторской книги бумажные «фунтики».

Время шло.

Маленькая надежда, подогревшая было сердце Арсена, рассеялась с наступлением ночи.

Но Мари была тут, Мари с ее самоотверженной добротой. И сейчас же он почувствовал себя спокойнее.

— Ну, что же, м-сье Арсен, вы так и не хотите ответить на мой вопрос?

— Разве вы меня спрашивали о чем-нибудь?

— Несколько раз. Только ваши мысли были где-то в другом месте.

— Простите меня, пожалуйста... О чем же вы меня спрашивали?

— Я хотела знать, куда вас посылают. Ведь все, кто уезжает, знают, куда они едут. Правда?

— Завтра я буду в Туле.

— А!

Наступило молчание, во время которого Арсен слышал только шорох бумаги в руках Мари. Ему показалось, что она стала свертывать маленькие «фунтики» несколько быстрее.

— Ну, а немцы?—спросила она.

— Немцы, Мари?

— Я спрашивала. Мне сказали, что они пройдут через Бельгию. А Бельгия далеко от Туля, не правда ли?

— Да, Бельгия далеко от Туля. Но они не вторгнутся в нее. Те, кто говорит это, не знакомы с положением дела. Им там нечего делать. Они пройдут через Вогезы, потому что там находится французская армия.

— А Туль около Вогез?

— Как раз напротив, Мари.

— Но ведь Туль—крепость. И там ведь форты, которые будут защищать вас.

— Форты крепкие, как горы. Туль неприступен.

— Тем лучше, м'сье Арсен. Только вот, сперва вы попадете в Туль... А потом попадете в другое место. Солдаты никогда не знают, где они будут завтра... Ах, сколько горя!.. Какая жалость, боже мой!.. Послушать только, что уже говорят! Говорят, что есть пушки, которые стреляют, не знаю, на сколько верст!

— И которые одним выстрелом убивают сотни людей.

— Сотни людей! Неужели это возможно, боже мой? Я даже слышала, как г. Дюфур рассказывал, что иные пушки возят на автомобилях... Это, конечно, для того, чтобы смерть шагала быстрее. Но ведь все это не там, где сами солдаты. Вы, например, м-сье Арсен, вы ведь служите в пехоте?

— Да.

— Ну, так объясните мне. Я хотела бы немного разобратся.

— Пехота, видите ли, Мари, это главные силы армии, то, что идет впереди пушек. Там человек затерян. С ним считаются не больше, чем с песчинкой. И никто не знает тебя. Когда пехота движется, это похоже на морские волны, которые ветер гонит перед собой. Это еще похоже на наводнение; и пехота, как вода, все покрывает: дороги, поля, жатвы.

— Теперь я понимаю... Пехота—это число, это вся страна, которая идет вперед.

— И которая шумно движется вперед до сражения.

— Да, понимаю. Вас всех вместе так и толкают!

И, словно этих слов было достаточно, чтобы потерять дыхание, Мари взялась рукою за горло. Он подумал, что, может быть, слишком взволновал ее своей немного жестокой болтовней.

— О, знаете,—поспешно прибавил он, чтобы успокоить ее,—и из пехоты возвращаются... Я надеюсь, что вернусь!

Но вдруг ему показалось, что она покачнулась.

— Что с вами, Мари, что с вами?

В ту же минуту она упала на колени. Он устремился к ней, схватил ее в охапку и усадил в кресло.

— Ничего,—пробормотала она.—У меня просто нога подвернулась, когда я встала с места... нога, которую я уже раз свихнула себе, помните, когда я хотела достать лоханку с этажерки... И потом здесь так душно... так душно! Здесь прямо огонь вдыхаешь... Разве вы не находите, что воздух жжет горло... Но мне уже лучше, гораздо лучше.

Тогда она заметила, что он держит ее руку в своей руке. И, хотя он удерживал эту руку только из

чувства чистого сострадания, она тихонько отняла ее у него.

Долго сидели они молча; полутьма окутывала их обоих, и в ней они чувствовали себя еще ближе друг к другу.

Потом, при свете зажегшегося фонаря, он увидел, что она плачет.

— Бедная моя Мари, мне не следовало так говорить с вами о войне.

— Почему?

— Потому что вы сострадательнее других женщин... Забудьте то, что я рассказал вам... Да ведь все это и не так страшно, как кажется... Посмотрите на всех, кто уезжает... Они веселы... Некоторые даже поют.

— Видите, как наши сердца взволнованы,—вздыхая, сказала она.—Вот теперь вы меня утешаете!

И она робко, сквозь слезы, улыбнулась ему.

И Арсену показалось, что он понял то, что она так тщательно скрывала от него целые годы!

И когда их взоры встретились в золотистом свете, струившемся от фонаря, Мари подумала, что Арсен читает в ее душе.

— Все-таки странно, что их до сих пор еще нет,—тотчас же сказала она.—Должно быть, поезда заняли под перевозку войск. Я иначе не могу объяснить себе этого. Они наверное торопились домой... Особенно м-ль Матильда, которая, так сказать, теперь ваша невеста.

Она надеялась отвлечь его таким образом, скрыть от него свои страдания.

Не успела она кончить фразы, как затрещал телефон.

Арсен схватил трубку.

У телефона был г. Дюфур!

— Это вы, дитя мое?—отчетливо послышался его великолепный голос...—Это вы?

— Да, г. Дюфур.

— Ну, вот... Да не перебивайте же, барышня!.. Итак, Арсен, мы должны извиниться. Мы не вернемся к обеду. Муken ни за что не отпускает меня.

— Слушаю, г. Дюфур. Я скажу служанке, чтобы она не накрывала на стол.

— Я телефонирую вам не для того, чтобы вы предупредили служанку; я телефонирую вам, чтобы проститься с вами.

— Вы слишком добры, г. Дюфур, вы меня конфузите.

— Подождите, жена что-то говорит... Хорошо... Да, предупредите служанку и скажите ей, чтобы она вынесла жаркое на холод... Итак, Арсен, посылаю вам мой самый душевный прощальный привет. Мысленно мы будем с вами всюду, где бы вы ни были.

— Как благодарить вас, г. Дюфур!

— Я встретился здесь с майором Делатр, он скоро уже десять лет как в отставке, а теперь горит желанием снова поступить на службу. Мы, само собой разумеется, беседовали о войне. С ним, можете поверить мне, голова не бастует. Мы слегка коснулись всего. И так как сегодня, после обеда, мы обсудили этот вопрос основательно, не оставив ничего нерассмотренным, то могу с уверенностью сказать вам, что победа обеспечена. Поэтому я от всего сердца кричу вам: мужество и вера!

— Благодарю... Еще раз благодарю!

— А что это, мой милый, у вас, как будто, голос дрожит? Смотрите, без нежностей!.. Теперь нужно закалить свою душу! Впрочем, подождите, я pošлю вам сейчас майора. Он внушит вам немного своей веры... Он вам скажет...

— Г. Дюфур, умоляю вас, не посылайте мне майора,—вскричал Арсен.—Потому что, видите ли, в эту минуту...

— Ну что... в эту минуту?

— У меня к вам маленькая просьба... Я хотел бы, чтобы вы передали мой привет г-же Дюфур и м-ль Матильде... И даже, если это возможно, я желал бы проститься с ними по телефону... в последний раз... Я был бы этому так рад!

— Но это вполне естественно! Я передаю им трубку. А что касается меня, дорогое дитя мое, то вот мои последние слова: сражайтесь храбро!

И голос его так напрягся, чтобы вымолвить это последнее поучение, что у Мари явилось странное ощущение реального присутствия его в магазине.

— Вы здесь,—телефонировала в свою очередь г-жа Дюфур.—Муж сказал вам об этой маленькой помехе. Мне остается только пожелать вам всего хорошего... Не задерживайтесь, пожалуйста, из-за кассового итога... Ну-с, надеюсь, до скорого свидания, и посылайте, пожалуйста, открытки... Не уходите... Сейчас Матильда будет с вами говорить...

К несчастью, в этот момент в аппарате что-то зашумело, и слышно было только какое-то неясное жужжание. Впрочем, Арсену показалось, что Матильда прошептала его имя. Он хотел ее поблагодарить; но тогда он разобрал, что оба они говорят разом. Он опять стал слушать. Еще раз послышалось какое-то потрескивание, все слабее, все отдаленнее, затем легкий стук, который отозвался в самой глубине его сердца.

Матильда повесила трубку.

Когда он обернулся, то к удивлению своему увидел, что во время этой кратковременной беседы Мари успела зажечь горелку Ауэра, закрыть ставни, убрать товар и даже привести немного в порядок свою прическу.

— Не желая подслушивать,—созналась она ему,—я слышала или, правильнее, угадала то, что вам говорили. И сделала все, что нужно... Даже передала служанке.

Она снова была совершенно спокойна.

— А теперь пора,—прибавила она.

— В таком случае, Мари, позвольте поцеловать вас.

— Нет еще, м-сье Арсен. Вы не можете уехать один, чтобы вас никто не проводил... Вы были бы единственным. Я провожу вас!

— Нет... нет... я не хочу, чтобы вы утомлялись.

— Почему вы говорите об утомлении? Разве я не ваш товарищ?

И, так как она продолжала говорить с ним так разумно, так ласково-нежно, ему вдруг вспомнилась его мать.

И он увидел себя в маленькой хижине, вечером, засыпающим, прижавшись щекою к ее руке.

И тут была та же кротость, то же чувство преданности и доверия.

Мари, между тем, захотела понести его чемодан, но он воспротивился:

— Это—никогда... этого я не позволю...

— Завтра вы будете носить большие тяжести... позвольте мне...

— Нет, Мари, нет.

— Не лишайте меня этого удовольствия, умоляю вас... Мне этого очень хочется... Ну, давайте пойдем... Вот...

И они пошли через город, среди тысячи прощаний.

Они встречали другие пары, похожие на них. У женщин, правда, глаза были немного красны; но походка их была тверда. И каждая из них с гордостью смотрела на мужчину, который нес туда всю кровь своего тела.

— Как это все просто сделалось,—сказал он,—и как вы правы, что настояли на своем. Мне все-таки было бы стыдно, если бы я шел один со своим чемоданом...

— Я заняла то место, которое мне оставили, вот и все... Это, видите ли, немножко моя специальность

в жизни... Я — замещающая... я — служанка на всякую работу.

— Для меня вы были кое-чем другим... Благодаря вам, Мари...

Но при мысли о том, что он может еще прибавить, она поспешила прервать его.

— Когда я поступила в услужение к* Дюфурам, — продолжала она, — они сказали мне: «Мари, мы берем вас не для того или другого. Вы будете делать все, что понадобится». Таким образом, однажды, когда шел дождь, меня послали отнести венок на чьи-то похороны, в сторону Венсенн. И я не только отнесла венок, но раз уж я была там, то и поплакала. Я вам правду говорю, м-сье Арсен, я — служанка на всякую работу.

— Послушайте, я запрещаю вам так говорить.

— Но почему?

— Потому что без великой помощи, которую вы оказали мне, я был бы несчастнейший из людей, потому что сегодня сердце мое переполнено благодарностью...

— Ну, сегодня, может быть, — только и ответила она ему.

По мере того, как они приближались к Восточному вокзалу, все чаще стали попадаться на пути парочки, в роде них.

Сжимали друг друга в объятиях. Обменивались поцелуями в ночной тьме.

Тогда Мари, осторожная Мари, не зная, что даст ей будущее, позволила ему, чтобы не пойти дальше, поцеловать себя в щеку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Полк расположился лагерем вдоль Мааса, на лугу, перерезанном многочисленными ручейками, освещаемыми отблеском сумерек.

Люди доедали обед из своих манерок.

— Не усесться ли нам в сторонке, чтобы промочить горло, — сказал, обращаясь к команде, Жерар. — Мы побеседуем немного. Это самый верный способ узнать и оценить друг друга.

И все поспешили за ним.

Никто еще не знал, откуда явился Жерар, был ли он простой рабочий, или жил за счет своего разума, работал он инструментом или пером; но его влиянию уже подчинялись, потому что у него была ясная мысль, потому что его холодная и бесстрастная манера спорить, особенная вибрация его голоса неизменно действовали на сердца.

Патийон, спорый на всякую работу, специально представленный к огню, наложил сухих веток на кучу вереска, опаленного летом.

Он присел на корточки, приложился щекой к земле и задул, как кузнечный мех, во всю мочь своих легких.

И веселое пламя взвилось вверх.

Арсен, с самого утра ходивший по жаркой дороге, растянулся на свежей траве.

Едва только он закрыл глаза, как за его веками замелькали события последних дней.

Он увидел скобяную лавку, потеющих и жестикулирующих соседей, бесстрастную Матильду, скрестившую руки на голове своей собаки, и г. Дюфура, стоящего у окна и как бы пропускающего парадом мрачно дефилирующую толпу. Он увидел кипящий Париж, народ, приливающий к Восточному вокзалу, хлещущий черным потоком о решетку двора и волнующийся, как море во время прибоя, и бледную улыбку Мари, развеянную в этой ночи.

Он увидел, наконец, поезд, покрытый зеленью, испещренный надписями, последние объятия, поцелуи, слезы, дверцы вагонов, в которых теснились воющие головы, и того, обнаженного до пояса, похожего на шута, который то сжимал, то разжимал мускулы на руках и кричал: «До свидания, Пантрюш¹⁾!»

Ах, этот отъезд!

Крики, «ура», к которым издалека примешивалось лошадиное ржание! А когда поезд двинулся, — все эти песни, слившиеся в единую марсельезу, звуки которой сотрясали стеклянные своды!

И безумное путешествие по французским полям, сквозь не сжатые еще нивы, остановки на маленьких станциях, с таким множеством зелени и цветов, что они походили на уличные алтари, воздвигнутые по пути огромной процессии, трехцветные букеты, которые им бросали, вино, румяные пирожки, сигары, и поспешное выскакивание из вагонов, чтобы поцеловать какую-нибудь хорошенькую девушку, пришедшую вместе с родителями!

— Получай свою порцию, товарищ! — прокричал ему в ухо чей-то голос.

¹⁾ Париж.

Арсен вскочил, потом здорово ударил Патийона в спину за то, что тот разбудил его.

Кофе уже кипел, и люди на корточках уселись вокруг огня, с кружками в руках.

Арсен сосчитал лица, освещаемые в синей ночи перебегающими отблесками огня.

В первый раз с тех пор, как их вооружили ружьями, они так собрались все вместе, составляя своего рода отдельный организм.

Они были — отряд!

И пока разливали дымящийся кофе, Арсен, глядя на них, невольно думал, что вот этот, смеющийся сейчас в темноте, завтра, быть может, поддержит его в огне битвы; а тот, другой, перед тем, чем окоченеть навеки, может быть, шепнет ему свою последнюю волю.

Более властное, чем дружба, чувство зарождалось между этими, вчера еще незнакомыми людьми, призванными помогать друг другу среди потоков крови, которая скоро прольется.

Там был Грежуа, который уже рассказал им о ферме, где жили его родители, маленькой ферме, затерявшейся в складках Босы, как корабль в море; Белан, спускавший сосны со снежных круч Высоких Вогез; Белланже, деревенский парикмахер, довольно красивый малый, постоянно крутивший пальцами свои светлые усы, словно он стоял перед зеркалом; Жанвуан, сельский рабочий; Барлие, кабатчик с Севера; Валетт, чиновник при расценочной комиссии; Трувион, просто бывший булыжник на дороге; Потрю, носильщик на рынке.

А около Арсена, опершись локтем об его бедро, лежал Патийон, молодой крестьянин из Бургундии, с крепкими, полными, позолоченными солнцем щеками, великан, который со своими могучими, как скалы, плечами,

со своими руками, широкими, как бараньи лопатки, сохранил в двадцать пять лет лицо ребенка.

Это был его любимец.

Он познакомился с ним в Туле, на перроне вокзала, прежде чем их повели для экипировки в казармы.

Предлогом к знакомству им послужила газета, купленная Арсеном, когда они сошли с поезда.

В газете сообщалось, что два германских броненосца потоплены в Северном море и что враг рода человеческого, задержанный в льежских Фермопилах, пошатнулся на своем пьедестале.

— Для начала это недурно, — согласился Патийон.

И без всякого перехода принялся рассказывать о своей стране, о Высоком Сарньяке, которого не следует смешивать с Низким Сарньяком, о клочке земли, где он оставил своего старика, который время от времени выходит еще в поле, а также о маленьком винограднике, посаженном по каменистому склону холма, прямо на солнце, и дающем легкое, легкое белое вино...

Когда составили отряд, чтобы отправить его в казарму, он захотел нести чемодан Арсена.

Потом, на следующий день, во время изнурительного перехода по пыльной дороге, он настоял на том, чтобы нести ружье Арсена.

— Оставь, — ответил он, когда Арсен счел долгом протестовать. — Так должно быть, потому что я сильный. У нас, когда надо спустить полуведерный боченок, люди говорят: «Надо сходить за Патийоном»... Так что, видишь...

И судьба, соединившая на пороге великих событий этих двух человек, из которых один нес на мешке лопату, а другой мотыгу, захотела, чтобы они стали неразлучными друзьями.

— Вот, у меня есть ром, — сказал Жерар, когда все напились кофе. — Он вдвое старше самого старого из

нас. Когда я уезжал, отец налил мне его во флягу с тем, чтобы я распил его здесь с вами.

Кружки наполнились все по очереди.

И тотчас же приятная теплота оживила тела и души.

Пламя, угасшее посередине круга, как бы зажглось в каждом из них.

— Хорошенько всмотримся друг в друга, — начал опять Жерар, — завтра, в пылу битвы, надо будет держаться вместе.

— Не бойся, — сказал Грежуа, — узнаем друг друга.

— Узнаем в любом дыму! — прибавил другой.

— Очень просто, — сказал Жанвуан, — мне кажется, что мы всегда друг друга знали.

Все согласились с этим замечанием.

А Патийон, все еще лежавший, опершись локтем о бедро Арсена, медленно поднял на него добрый взгляд преданной собаки.

— За здоровье нашего отряда! — предложил Жерар, снова налив всем. — На жизнь, на смерть!

— О, смерть! О ней не думают, — презрительным тоном сказал Трувион.

— Можно ли думать о смерти, когда идешь вместе и когда у всех одно сердце!

— Хорошо сказано! — одобрил Белланже. — Это точно, у нас совсем как бы одно сердце!

— И одна сила! — добавил Патийон.

— Послушайте, что я вам расскажу, — перебил Барлие. — Однажды в лавке я наливал горькую рудокопам, только что вернувшимся из шахты, как вдруг на дороге послышался крик. Под платформу крана, у которого допнула цепь, попал человек. Там была добрая тонна стали в брусках. Слышно было, как кости трещат. Секунды были сочтены. Тогда все четверо шахтеров

и я, мы вцепились в платформу и, прижав локти к коленям и напрягшись до того, что едва не лопнули, задерживали удар, пока не приладили другую цепь. Вот так должно быть и у нас, в команде. Если один в опасности, остальные бегут на помощь. Его или спасают, или все там остаются.

Мимо промчался, гремя колесами и сталью, артиллерийский обоз.

— И сказать только, — пробормотал Бёлан, когда шум затих, — что завтра все это затрещит!

— Или еще сегодня ночью.

— И что сегодня ровно неделя, — вздыхая, сказал Жанвуан, — как мы танцевали в садике на свадьбе моего кузена, и ни о чем не думали, и у всех были ленты на шляпах!

— Разве у тебя на родине нет газет?

— Есть одна, приходит по воскресеньям, с картинками, ее получает учитель нашей школы.

— Ах ты, деревня!

— Так мы плясали уже часа два, как вдруг видим, летит старик Бурдиль, который работает у нас на кладбище. И кричит, словно слепой, потерявший палку: «Остановитесь! Остановитесь! Говорят, мобилизация!» — «Ну, вот, похоронил старик кого-то и еще не протрезвился!» загорланили со всех сторон. При этих словах я снова плотно усадил скрипача на его бочку. Он снова запиликал, и каждый подхватил свою даму... Но на следующее утро старик Бурдиль сам бил в набат.

— А у нас — мы живем у самой границы — целую неделю барометр стоял на буре, — перебил Барлие с оттенком гордости в голосе.

— Да, нас было человек сорок парней и столько же девок — продолжал Жанвуан, увлеченный воспоминаниями. — И в тот же вечер, после ужина, мы все, взявшись

за руки, отправились на дорогу и стали распевать молитвы.

— Что же, ты жалеешь? — спросил Жерар.

— Ишь, что выдумал! Ничего не жалею!

— Никогда не жалеют ни о том, что плясал, ни о том, что любил девушек, — подтвердил Белланже, поглаживая усы.

При этих словах Потрю, носильщик из рынка, поднялся на колени. Он, в свои тридцать два года, был самым старшим в команде.

Его лицо алкоголика, подвергнутое тиком и поставшее раньше времени, освещалось красноватым отблеском костров.

Он был возбужден больше других, потому что Жерар вылил ему все остатки со дна своей тыквенной бутылки.

— Жалеть о чем-нибудь, когда идешь драться! — закричал он. — Я, например, должен прежде всего отдубасить. Если в рынке, скажем, кто-нибудь хоть чуточку косо взглянет на меня или просто засвистит мне под нос, мне сейчас кровь в голову бросится, и во рту кровь почувствую, и сейчас же я должен кокнуть молодца! Так меня и прозвали: Потрю Артачливый. Тем больше, что теперь мы только французы. Мы только пальцы руки, которая сожмется! Пойдите, я не знаю, как вам это объяснить, но при мысли, что мы идем все вместе и что у меня есть почетное место рядом с самыми лучшими, я чувствую, что вырос... я делаюсь другим человеком!

— А каким же человеком ты был прежде?

— Я был человеком, который гордился собою только в пьяном виде... Я пропускал слишком много чарок. Я унижал себя! Я был словно камень, который погружается в грязь!

Он замолчал, задумавшись.

— Продолжай,—сказал Жерар.

— И потом, вдруг, вот и я понадобился, вот и меня призывают, и на этот раз, чтобы драться, как благородный! Что же я тогда сделал? Я созвал ребят к трактирщику и там перед всеми швырнул к чорту свою бляху носильщика и поклялся, что вернусь с другою, с медалью на желтой и зеленой ленте!

В возбуждении он раскрыл рубашку и, стуча кулаком по худой груди, на которой он велел вытатуировать два перекрещивающихся орудия под сенью знамен, он прорычал:

— Увидят, какая кровь течет у меня в жилах, у меня, у Потрю!

В эту минуту, отделившись от соседней группы, к ним подбежал сержант.

— Заткните глотку, чорт возьми!

В самом деле, над лагерем пролетал аэроплан.

И в ту же секунду прожектор направил к востоку свой световой меч.

— А далеко отсюда до границы?—спросил Трувион.

— Ты видел сегодня днем гребни гор, вытянувшиеся на горизонте,—объяснил Жерар.—Это высоты Мааса. Сзади леса, затем большой пруд, затем еще земля, которая называется Шамбле... а там и она!

Нервное напряжение обострилось.

Теперь они уже только перешептывались.

Арсен посмотрел еще раз на этих людей, которых он все яснее видел в сгущающейся тьме.

Трувион раскуривал трубку, и отсвет уголька, который он разыскал в потухающем огне, освещал бороздки вокруг его глаз, выдавленные металлическими очками, которыми он защищал глаза, когда бил щебень. Валетт ощупывал рукою карточки жены и ребенка, ко-

торые он носил во внутреннем кармане своей солдатской шинели. Белланже покручивал нервной рукою свои длинные усы. А Потрю, этот парий из рынка, смотрел на ружье, лежавшее у него на коленях, ружье, служившее для него эмблемой его нравственного перерождения и приравнивавшее его к самым достойным среди подобных ему в общности приносимой жертвы.

Затем они улеглись. Жанвуан, снявший было свои грубые башмаки, снова надел их на случай ночной тревоги. Другие легли головами на мешки, а Патийон уронил свою голову к Арсену на бедро.

А тот все размышлял.

Он думал о мистическом единении, которое зародилось между ними под влиянием Жерара.

Он думал о том, что было сейчас сказано, об этой границе, отстоявшей от них не более, чем на выстрел 75-ти миллиметровой пушки, об этих двух армиях, подстерегающих друг друга в эту благоговящую ночь, под золотыми звездами, которые своим спокойным светом в течение веков озаряли ужас стольких убийств.

Мысли его все более и более спутывались, и он, в свою очередь, заснул.

* * *

Итак, 6 августа, ровно в пятнадцать часов пятнадцать минут, полк Арсена перешел границу.

Они шли с рассвета, когда, наконец, на одной остановке, на краю плоской возвышенности, Жерар, собрав всех людей отряда, сказал, протянув руку:

— Эльзас!

Земля, там, несколько не отличалась от той, по которой они шли. То были те же возделанные холмистые поля, те же тона пейзажа, те же хижины с тоненьким дымком над ними, те же колокольни.

А между тем при виде всего этого сердца забились сильнее!

Эльзас!

Волшебное слово пронеслось над полком.

И люди зашагали быстрее.

Они шли, с ружьями наперевес, их кружки и ма-нерки сверкали на солнце; они шли по пшенице и ржи, достигавшей им до груди, по жниву, где их башмаки топтали пучки брошенного в бороздах хлеба, по паровым полям и пастбищам, по виноградникам, весело перескакивая через заборы.

А красные штаны, докуда хватал глаз, пестрели ярко и весело.

Впереди скакал генерал.

Это был человек большого роста, с красным лицом и белыми, как снег, развевавшимися по ветру усами, с высоко поднятой головой. На нем был парадный мундир, золотое шитье которого сверкало на солнце, худые ноги его нервно сжимали бока лошади.

Он соразмерял ход лошади с шагом полка; вдруг он резко остановил играющего коня и приказал надеть на ружья штыки.

Подходили к границе.

Он вынул из ножен сверкнувшую шпагу, опустил в сторону Франции и крикнул:

— Вперед!

Зазвучали горны и барабаны, предвещая бешеную атаку. Горнисты во главе других полков ускорили веселый ритм, и все это затрепетало и зазвучало с дикой яростью.

И вырвавшийся из тысячи грудей крик наполнил воздух долгим рычанием.

Все устремились в направлении, указанном шпагою.

Казалось, будто движется само поле.

Генерал улыбался в свои белые усы. То был лучший день его жизни!

Мгновение единственное и яркое! Огненное мгновение!

Люди бредили.

Патийон ругался на своем наречии. Трувион и Жан-вуан наткнули свои кепи на кончики ружей. Потрю орал марсельезу. Иные останавливались, чтобы пофехтовать штыками. Иные стреляли в воздух. Иные вырывали пограничные столбы.

Вперед!.. Вперед!.. Это их пароль!

Шли, как по завоеванной земле!

Скоро они будут в Мюльгаузене.

Но вдруг раздался пушечный выстрел, величественное эхо которого прокатилось из долины в долину.

То был первый лай, спустивший с цепи ярость стальной своры.

Голубое небо грохотало.

На этот раз у Арсена было ощущение, что он действительно идет в бой.

Эпопея, которая, по предсказаниям Дюфура, должна была разыгаться на почве Эльзаса, развertyвалась во всей своей величественной красоте.

Он шел, опьяненный славой; тело у него было легкое, все чувства необыкновенно обострены; усталости и в помине не было; у него было ощущение, будто каблук его не касаются земли, вот как ходят во сне.

Словно душа Дюфура пела в нем!

А теперь отряд с остальной частью роты рассыпался по хлебному полю.

Залп картечи задел головную часть колонны; произошло замешательство, а кое-где и остановки; затем

замявшиися было начальники полурот получили приказание, чтобы люди их окопались.

Арсен и Патийон очутились на корточках рядом.

— Вот так несчастье,—жаловался Патийон,—такой хлеб, и его валят одним махом.

— Тебе что за дело, ведь мы теперь у них!

— Возможно, но все же хлеб чудесный!

Невдалеке, сквозь золотистые стебли, виднелись лица Жанвуана и Валетта.

Освободившись от своего мешка, Арсен решил вы-
сунуться из-за колосьев.

Равнина, только что оживленная, превратилась в пустыню.

Перед ним, на расстоянии меньше километра, сверкали красные черепицы деревушки.

Так как остановка затянулась, все более и более многочисленные головы высывались из густой жатвы.

— Ну-с, Жанвуан, что скажешь? — спросил Белланже.

— Скажу, что земля мне зад жжет. Лежишь, словно на печке.

— Перевернись на брюхо.

— Просят бежать вперед! — раздался насмешливый голос парижского гамена.

— Правда, какого чорта мы здесь киснем?

— Киснем потому, что те застряли там напротив нас.

— Давайте - ка сюда бутылочку, выпьем за их здоровье.

Арсен и Патийон положили около себя свои горячие ружья и откупорили для препровождения времени коробку консервов.

— Слышишь? — спросил вдруг Арсен.

— Ровно ничего не слышу.

— Ты не слышишь этот легкий шорох? Можно подумать, что это град. Откуда это?.. А, да, это смешно в самом деле... Что скажешь, старина?

— Чего там еще?

— Теперь я понял, что это. Видишь ли, так жарко, что зерна сами собой осыпаются из колосьев и барабанят по нашим манеркам.

— Ты — дурак, — спокойно ответил Патийон. — От жары никогда колосья не лопаются. Это не от солнца сейчас падают зерна на землю, это пули.

— А-а!

И при мысли, что смерть коснется его своим невидимым полетом, Арсен глубже зарылся в хлеб, где, подобно каплям крови, то тут, то там мелькали красные цветы мака.

Канонада прекратилась, и снова отдан был приказ итти вперед.

Застегивая свой мешок, Арсен сказал самому себе, что, в сущности, война уже не такая страшная вещь.

Его услужливый разум низвел ее даже до ряда стратегических движений, заключенных в черепной коробке главнокомандующего, который пребывал в центре телефонной сети. Это, пожалуй, не больше, чем грандиозная шахматная партия, которую увенчает чисто теоретическая победа, нечто в роде больших маневров, одного из лучших воспоминаний его молодости.

Но в ту же минуту он заметил раненого, торопливо и с трудом пробиравшегося в тыл.

Это был солдат линейного полка. Он опирался на ветвь дерева, которая была выше его самого. При каждом его шаге кровь проступала сквозь продырявленную кожу башмаков. Его откинутое назад лицо было бело, как мел, глаза блуждали, он шел и безумно выкрикивал какое-то женское имя.

И Арсен испугался того, что ему будет страшно. Этот раненый, оставлявший кровавые следы в пыли, этот единственный раненый, наполнявший своим ужасом спокойную обстановку, лучше, чем все остальное, объяснил ему зарождающийся долгий ужас.

А вот появились и другие!

Они подымались отовсюду. Некоторые из них поддерживали друг друга. Другие тащились, помогая себе руками. Сержант прыгал на одной ноге, а другая была у него раздроблена и грубо привязана к ручке заступа. Дальше, на кучу камней упал стрелок, а рука его медленно двигалась эпилептическим движением. Еще дальше, посреди луга, стояла на трех ногах, склонив к земле голову, белая лошадь, со свернутым на сторону седлом.

Несколько пуль отскочило рикошетом по дороге, и весь отряд распластался на откосе.

Патийон, растянувшийся, как и другие, заметил у своих ног, в канаве, чье-то тело, зарывшееся в траву.

— И устал же он, чтобы спать среди этого содома, — сказал он.

— Эх, ты, — крикнул ему Белланже, — да разве ты не видишь, что это покойник!

Арсен, услышавший это, в свою очередь нагнулся над трупом, — первым, который он видел.

Это был совсем еще молодой человек, горло которого было пронизано черной дырой. В сжатых зубах он держал уже давно засохший цветок.

«Влюбленный!» подумал Арсен, и сердце его сжалось. А ужас все возрастал.

По новому приказу они снова двинулись вперед.

Но когда они шли по свекловичному полю, карточка градом посыпалась на них.

Отряд застыл под этой огненной бурей. Он стал внезапно неподвижен, как группа камней.

— Крышка нам! — вскричал Патийон.

Арсен даже не слышал его.

Мысли с такой быстротой проносились у него в голове, что он не успевал остановиться ни на одной.

Между двумя вспышками он заметил корову, глупо мычавшую в нескольких шагах от них. Ее обволокла вспышка, потом облако дыма. Когда облако рассеялось, коровы больше не было.

Арсен с дрожью подумал, что и он может точно так же улетучиться.

— Стройся черепахою!

Этот короткий приказ кинул их всех на землю; они прижались друг к другу до того тесно, что стали задыхаться, а мешки лежали у них на затылках.

Арсен почувствовал, что его приподымают. В самом деле, люди пытались подлезать друг под друга, как черви, старающиеся уйти в землю.

Когда они «расстроили» черепаху, то увидели, что огненный шквал уже далеко. Теперь он свирепствовал в соседнем лесу. Трещали огромные дубы. И ветви, скользя друг на друга, падали со страшным шумом свергающейся воды.

— Вот, господи прости! — пробормотал Патийон, взволнованный в своей крестьянской душе при виде леса, который дрожал, кричал и, казалось, действительно страдал.

Но опять они пошли в атаку.

Скоро между ними и красными крышами был только большой выгон, весь развороченный снарядами.

— Вперед!

Крик ненависти вырвался из солдатских грудей.

И полки, со штыками наперевес, как молния, ринулись на деревню.

К несчастью, она была эвакуирована. Оставалось только несколько пулеметчиков, которых посадили в засаду в передние дома, чтобы прикрывать отступление; их скоро заставили замолчать.

Что касается жителей, то они законопатились у себя; некоторые спрятались в погреба и выставляли в отдушины перепуганные лица.

Только один старый крестьянин взобрался на разрушенную снарядом крышу и спокойно чинил ее.

Каждый, проходя, пускал ему словечко.

— Вот так черепица!

— Эй, ты, не нужно ли тебе кровельщика?

— Тебе обойдется только в полуштоф!

Но старик был весь поглощен своей работой.

Они прошли вперед еще с десяток километров, не встречая ничего, кроме уланских патрулей, которые рассеивали выстрелами.

А на ночь они расположились лагерем в большом лесу, погасив все огни.

С утра же, как только проснулись, они принялись за стирку.

Им роздали большие куски мяса; но мясо это, бывшее уже три дня в пути, разложилось в жаркой атмосфере вагонов. Оно было такого же зеленого цвета, как и мох, на который его бросили. Они оттолкнули его ногами и снова набросились на коробки с консервами.

Они все были невероятно горды этим первым днем сражения.

Горделивая радость отражалась на их лицах.

И они больше горели нетерпением говорить, чем есть.

Самым восторженным, как и всегда, оказался Потрю. Это был единственный в отряде, получивший рану. Осколок шрапнели оцарапал ему лоб. И кровь окрасила платок, которым он повязался.

— Ну что,—говорил он товарищам,—разве я не прав? Кто из нас не горд тем, что живет сегодня?

— Это правда,—казал Барлие,—теперь мы имеем право гордиться собой.

— А почему мы имеем это право, почему спрашиваю я?

— Потому что здорово дрались,—ответил Бёлан.

— Потому что мы наплевали на смерть, потому что она была у нас здесь, перед глазами, а мы отогнали ее прочь.

— Потрю прав,—сказал Жерар.—Показав свое презрение к жизни, вы этим самым стали выше ее. Вот что придает вам новую цену, вот что вас возвышает.

Это одобрение произвело на Потрю такое же действие, как удар мечом при возведении в рыцарское достоинство.

— Да, это нас возвышает,—повторил он, выпрямляясь.—Мы стали великанами!

— Послушай...—хотел вставить Жанвуан.

— Дай мне договорить, чорт возьми. Дай мне объяснить тебе... Когда мне случалось разойтись на рынке, значит выпил, что надо. Здесь же ничего подобного. Здесь тебя возвышает идея... понимаете, ребята... идея!

— Ну, да, конечно, мы тебя понимаем,—несколько нетерпеливо ответил Жанвуан.

— И вместе с тем только одно желание: петь и смеяться!

— Верно,—заметил Трувион.

— Возможно, что земля, по которой мы сейчас ходим, будет завтра вся покрыта трупами... Ну, так что ж! Все-таки в воздухе словно радость какая!

— Совершенно верно: мы уже не те,—согласился Белланже.

— И потом еще одно,—сказал практичный Барлие,—теперь, после такого молодецкого дела, когда мы вернемся назад, мы будем себя чувствовать сильнее, чем когда бы то ни было, мы поборем все препятствия!

— Еще бы, мы уже будем готовы к драке,—подхватил Потрю, наполнивший из новой бутылки свою кружку.—После этого мы быка за рога возьмем.

— Все-таки это странно,—пробормотал Валетт, чиновник при расценочной комиссии.

— Что... что странно?

— Ничего... Я думаю о том, чем была моя жизнь. Никогда ничего непредвиденного... Все было раздиновано, как нотная бумага, вытянуто под веревочку. Могу сказать, что каждое утро мне следовало только завести часы, и день протекал точь-в-точь, как вчерашний. И тем не менее я вечно дрожал. Я дрожал за себя, за своих, за будущее. Вечером, когда я возвращался домой, я всегда боялся, что узнаю о каком-нибудь несчастье... А теперь, вот!

— А теперь,—вскричал Потрю,—вместо того, чтобы дрожать, ты пойдешь вперед, стиснув зубы, сжав кулаки... Что касается меня, то увидят, как я встряхну этих ребят, которые там остались, всех этих бахвалов, хулиганов и даже тех, со скотобойни, которые потешались, что меня можно поднять, как перышко...

— Я, напротив, надеюсь,—перебил Жерар,—что мы из этой войны вынесем совсем другое поучение.

Потрю, казалось, не понял.

Он опять принялся пить и продолжал говорить отрывисто и не сводя с них глаз, как собака, собирающаяся укусить, что, впрочем, никого больше не пугало.

И потом уж надоело его слушать.

— Вот Буавен!—внезапно объявил Белланже.

Все обрадовались, только Потрю озлобленно хмурился.

— Великолепно, теперь отдохнем!

— Сюда, толстая стерва!

— Давай сюда свое брюхо, чтобы нам повеселиться немного!

— Берегите манерки!—крикнул Грежуа.

— Не хочешь ли вылизать мою?

Это замечание вызвало смех всего отряда, потому что не было человека в полку, который не знал бы об исключительной прожорливости Буавена.

Он сел среди них, огромный и спокойный.

Это был толстощекий нормандец, с фигурой гипопотама, которого природа наказала ненасытным аппетитом, «булимик»¹⁾, как сказал Арсен Патийону, который после этого определения всегда с некоторым беспокойством смотрел на Буавена.

Хотя его обвиняли в том, что он один съедал «варено», приготовленное для целой роты, тем не менее его весело встречали, так как его безграничная глупость давала людям неистощимый материал для развлечения.

Когда хотелось немного посмеяться или просто иссякал предмет разговора, ему отпускали такого тумака в спину, которым можно было бы свалить быка. И тумак этот неизменно сопровождался целым градом шуточек и разных предметов.

— Лови!—кричал ему Барлие.

— Пастью, чего там!

Кусок камамбера шлепнулся ему в висок. Он, чтобы ничего не терять, снял с волос сырную корочку, которая

¹⁾ „Булимик“—человек, страдающий болезненным, ненасытным голодом.

к ним прилипла. Затем он положил сыр в брошенный ему другим хлебный шарик и принялся спокойно пожирать это.

Так как зубы его были испорчены ожским ¹⁾ сидром, которого он у себя на родине выпивал ежедневно около десяти литров, ему для жевания оставалось только несколько коренных зубов с левой стороны, и он, со своей постоянно набитой пищей щекой, скорее походил на человека, страдающего флюсом, чем на жующего.

Сейчас он очищал дно принесенного ему кашеварного котла.

— Знаешь, старина,—сказал ему Белланже, хлопнув его своим кепи по голове,—если тебе мало, ты всегда можешь подать рапорт полковнику.

— Ладно... ладно...

— Вы разве не знаете, что он по ночам жует замазку,—сказал привлеченный этой сценой сержант.

— Стало быть, настоящее жвачное!

После этого ему насильно расстегнули шинель.

— Боже,—сказал Жанвуан,—ну и набил себе брюхо! Это прямо не желудок, это какой-то сычуг бычий!

— Говорю же вам,—опять начал сержант,—как принажмешь его брюхо, то слышишь, как кусочки там целиком так и гуляют... Вот подождите.

— Ладно... ладно...—повторял Буавен.

И так как все толкались вокруг него, чтобы пощупать, Арсен, которого никогда не занимали такие развлечения, поднялся.

— Куда ты?—спросил Патийон.

— Пойду в лес, погулять. Это, знаешь ли, тоже интересно...

— Принеси нам кролика оттуда.

¹⁾ Т. е. из провинции Ож.

— Для Буавена,—сказал другой.

— Он их живыми глотает.

Но Арсен был уже далеко.

После шума и тревоги последних дней он с наслаждением отдавался очарованию этой успокоительной прогулки.

Только потрескивание веток, шелест крыльев среди листвы, шуршание ветерка, как вздох срывавшееся с верхушек деревьев, нарушали тишину.

Он сел на пенек.

И среди этой мирной природы, столь благоприятной для мечтаний, ему вспомнился один благоухавший свежестью эпизод.

Дело происходило в другом лесу, тоже очень глубоко, тоже таинственном, куда он любил в детстве забираться и который его воображение, возбужденное рассказами матери, населяло целым миром карликов и духов, мерещившихся ему в дрожащем контуре тени или в профиле низенького пня. На опушке этого леса было болото, поросшее камышом. И вот однажды ему пришла в голову странная мысль: чтобы развлечь мать в ее бесконечном одиночестве, вырезать себе флейту из камыша, как делали его маленькие товарищи. И он увидел себя дующим до потери дыхания в эту несчастную флейту, из которой ему удавалось извлекать только ужасно нестройные звуки; он увидел себя оглашающим воздух, топя от нетерпения, этой удивительной какофонией, пока в один прекрасный день он не сломал от ярости свой инструмент и не бросился, рыдая, в объятия матери, так никогда и не узнавшей причину этого великого горя.

Он продолжал бродить, следуя капризным извивам тропинок, шевеля в душе пепел других воспоминаний...

Он забыл войну, забыл бурю сражений, ужасы, которыми грозил завтрашний день, забыл все, вплоть до ружья, которое он на ходу машинально раскачивал в руке.

Он мог подумать, что он далеко, далеко.

Но вдруг остановился; все существо его напряглось.

По широкой просеке, в нескольких шагах от него, шел молодой немец.

То был совсем юный, безбородый пехотинец. Ему было, должно быть, лет двадцать с небольшим, но на вид — не больше семнадцати.

Он медленно подвигался вперед и, повидимому, тоже мечтал о чем-то далеком, о спокойном домашнем очаге, может быть, о невесте, как вдруг, в свою очередь, увидел Арсена.

И тотчас же взгляды их приковались друг к другу.

Страшная, завораживающая минута, потому что Арсен почувствовал, что никакая сила в мире не удержит его от нападения на этого человека.

Тот стал в позицию, согласно правилам, которые ему внушали там, в казарме. И, вскидывая ружье, он плакал!

На этот раз Арсен находился лицом к лицу не с солдатом, но с существом, слепленным из того же теста, что и он, из тех же страданий и тех же радостей, из тех же сожалений и тех же надежд, которое смотрело на него глазами, полными слез.

А внутренний голос кричал ему: «Убей его!» в то время, как целый мир мыслей кружился у него в голове.

От столкновения штыков раздался ясный звук, казалось, наполнивший весь лес.

Проделав отчетливо несколько финт ¹⁾, он ясно почувствовал, что сильнее противника. Каждое его движение обладало механической точностью рефлекса.

¹⁾ Фехтовальный прием.

Затем, несмотря на то, что душа его трепетала от сострадания, рука его распрямилась с силою пружины. Штык целиком погрузился в тело немца, упавшего на колени, не выпуская из рук ружья; губы его покрылись розовой пеною, а взгляд оставался прикованным к взгляду Арсена.

В этом угасающем взоре было только беспредельное страдание, смешанное с еще более беспредельным изумлением.

Он попытался было вытянуть руки, но не мог и рухнул на землю, согнувшись пополам, как кукольный паяц, у которого порвались нитки.

.....

Вернувшись, Арсен застал своих товарищей за кофе.

Они продолжали подсмеиваться над Буавеном, который был совершенно нечувствителен к граду их шуточек и ударов, как толстокожее животное к укусам мух.

И только Потрю, перекосив губы, держался в стороне, взбешенный тем, что никто больше не желал его слушать.

Вдруг он швырнул свою кружку, погнувшуюся о котел, стоявший посредине круга.

— Ах, вы, черепахи! — крикнул он без всяких предисловий.

Все поняли смысл этого намека. Вспомнили, что, действительно, он не захотел прикрыться под другими и что он, один из всех, из удалства неподвижно стоял под картечью.

— Значит, на вас произвел такое сильное впечатление этот дождь? — пояснил он, срывая кровавую повязку, прилипшую к его лбу.

— Ты со мной разговариваешь? — спросил Белланже.

— С тобой, как и с другими.

— Так я тебе сообщаю, что на меня ничего не производит впечатления, кроме взгляда красивой девушки.

И так как он по очереди обводил всех глазами, Патийон, думая, что это вызов ему, встал.

— Я, старина, родом из Высокого Сарньяка,—отчеканил он с неподдающимся определению выражением.— Это тебе, пожалуй, не рынок... Но у нас, когда говорят: «этот человек из Высокого Сарньяка», то знают, что это значит.

— Ну, полно, полно,—вмешался Жерар.—Все исполнили свой долг. Никакого позора нет в том, если желаешь спасти свою жизнь, когда в следующую же минуту жертвуешь ею.

Это успокоительное замечание было бессильно умерить высокомерие Потрю, который с сострадательной улыбкой направился к Арсену.

Он хотел положить ему руку на плечо. Но Арсен пристально взглянул на него.

И Потрю, сам не зная почему, отдернул свою руку так быстро, словно он коснулся огня.

— Ну, а ты, навозная куча?—спросил кто-то Буавена...—Какое это произвело на тебя впечатление?

— Будешь говорить, свиная задница?

— Ну, хорошо,—решился он наконец ответить,—это произвело на меня такое впечатление, что жрать захотелось.

Это вызвало взрыв всеобщей веселости. Снова внимание было отвлечено от Потрю.

— Да замолчишь ли ты, хвостун несчастный!

— Пусть у меня зубы выпадут, если я вру!

— Да они и так уже у тебя выпали, жаба!

— О-го!

— Да замолчи, сказано тебе! Видали тебя в этой сутолке. Ты только и думал о том, чтоб зажать уши!

— Я! Я!—защищался он,

— Ды, конечно, ты!

— Ты дрожал, как рубашка, вывешенная за окно!

— Надо было кричать караул!—шутил Белланже.

— Это уж совсем плохо, если тебе это говорит такой скот...

— Ты сказал:—скот? Возьми слова назад, Буавен.

— Не возьму.

— Раз... два... три...

— Нет!

Тогда все, вслед за Белланже, набросились на него, надвинули ему котел на голову, начали катать его по земле.

На минутку пережили они прежнюю веселую разнузданность солдатской артели.

Один только Арсен молчал среди всего этого гама.

* * *

Они опять двинулись вперед.

Шли без усталости, сверкая глазами, опьяненные завоеванием этой земли, которая, казалось, бежала им навстречу.

Но вдруг горизонт покрылся вспышками огня.

Пущенные вперед, как стрелы, передовые части армии наткнулись грудью на неприятельскую артиллерию.

Целые полки устремились назад.

Это производило впечатление обратного движения волны. Долог был водоворот этих человеческих масс.

Потом получен был приказ к отступлению.

И поток покатился назад, еще быстрее.

Взбешенные, возвращались они обратно по тому самому пути, по которому прошли вперед с песнями.

Облако пыли окутывало этот разгром.

В беспорядке, царившем в ротах, отряд, хорошо ли, худо ли, сгруппировался вокруг Жерара.

Он был ранен в колено; но, чтобы не попасть в руки неприятелю, без жалобы подвигался вперед, волоча раненую, покрытую жгучими нарывами, ногу.

Сжигавшая его лихорадка находила исход в горячих словах, которыми он старался воодушевить падавшую вокруг него энергию.

Но он походил на человека, кричащего во время бури.

И, действительно, буря гнала этот поток людей, лошадей и пушек по разоренным жатвам, по полям, усеянным бесчисленными обломками и трупами.

Арсен потерял свой пояс и патроны; но, несмотря на облегчение ноши, он был так утомлен, что вынужден был отдать Патийону и ружье.

Некоторые даже при этом бедствии сохранили еще способность шутить; другие шли вперед, рассвирепев, стиснув челюсти; были такие, наконец, которые садились на край дороги и плакали.

Потрю говорил только о том, что надо повернуть и пойти прямо на пушки, ревелившие им в спину.

И отступление продолжалось ночью под новые шквалы снарядов.

Дома пылали; в полях, как факелы, вспыхивали скирды хлеба.

Многочисленные эльзасские семьи, приветствовавшие вступление французов, присоединились к этому переполоху, боясь преследований со стороны немцев. При свете пожаров видны были несчастные люди, везущие в ручных тележках или тащащие на плечах остатки трудом добытого добра. Какой-то полусумасшедший старик бегал по дороге с горящею лампою в руках.

А отделения парков, артиллерийские обозы, автомобили полным ходом прорезывали эту сумятицу.

* * *

Снова перейдя через границу, полк Арсена, уменьшенный до одной десятой прежнего состава, остановился на отдых в маленькой деревушке на Маасе.

По удивительной случайности, отряд остался нетронутым.

Но люди впали в глубокий маразм.

Узнали, что наша армия, разбившись под Шарльруа о стену пулеметов, была, несмотря на ее героизм, отброшена на Сомму, а потом на Энну.

Носились самые мрачные слухи.

Говорили, что немцы на расстоянии одного перехода от Парижа. Немецкие аэропланы бомбардируют город, как и сколько им угодно!

Тогда гнев изгнал из сердец овладевшее было ими чувство грусти.

— Чорт возьми, — прорывал однажды Потрю, — вот Париж сам себе голову снимает!

Он в самом деле только что прочитал в обрывке газеты, в которую была завернута коробка с консервами, что правительство переехало в Бордо.

И в бешенстве он схватил за дуло свое ружье и разбил его в щепы о придорожную тумбу.

Что касается Арсена, его душа всецело была занята Дюфуром; и мысль об его неизбежном столкновении с немцами в случае, если им удастся прорваться в столицу, почти болезненно волновала его.

Он не сомневался в том, что его возьмут заложником. Значение, которое он приобрел в своем квартале, в соединении со всем известной непримиримостью его патриотизма, выдвигало его впереди всех!

Ужасное столкновение!

И Арсен воображал его себе со скрещенными руками, в вызывающей позе, с искривленными презрением губами, стоящим лицом к лицу со скотами в галунах, над которыми он господствует своим неукротимым мужеством. Однажды ночью он даже видел его во сне — приставленным к стене и срывающим повязку с глаз, чтобы поразить последним молниеносным взглядом кайзеровских палачей.

Часто думал он также и о Матильде. Он видел, как она, гонимая этой бурей, ночью бежит вместе с матерью по пылающему Парижу.

Но иногда он чувствовал себя настолько удрученным крушением самых дорогих своих надежд, что у него оставалось силы только на то, чтобы жалеть самого себя.

И тогда образ Мари милосердно навещал его..

ГЛАВА ПЯТАЯ

В начале войны не было ни одной манифестации, ни одного патриотического шествия, ни одной выставки трофеев, куда не спешил бы Дюфур, чтобы участвовать жестикуляцией и криками.

Его видели у казарм, у всех статуй, более или менее представляющих величие нации, перед балконом военного министерства, где развевалось первое, отбитое у неприятеля знамя. Всюду, где кипела, в буре криков, возбужденная толпа, человеческая волна вздымала его вверх, как символ, с его фетровой шляпой на голове.

Когда толпа не поглощала его своим бурным потоком, он отправлялся к переходному мостику Восточного вокзала, где подавал своим могучим голосом сигнал к приветственным кликам в честь уходящего воинского поезда.

Но как только он возвращался домой, жена завладевала им, смывала угольную пыль, прилипшую к его лицу, освежала его губкой, растирала с ног до головы и надевала ему теплую фланелевую фуфайку. И часто, когда он спешил в «Коммерческое кафе», где его ждали приверженцы, она гналась за ним по улице, чтобы накинуть ему на плечи шерстяную пелерину.

Двадцать лет уже старик Эрнест, служивший завсегдатаем кафе, пользовался исключительной привилегией

капать ему холодную воду в абсент. Но со 2-го августа, с тех пор, как прозвучал призыв к жертве, старый Эрнест довольствовался тем, что подавал ему скромный оршад. Ибо Дюфур дал обет не пить ни капли алкоголя до победы нашего оружия.

И все последовали его примеру!

В течение этих первых дней, ознаменовавшихся выступлением Англии и ужасающими гекатомбами прусской гвардии перед бельгийскими фортами, чудесная надежда зашевелилась в сердце каждого француза. И в маленьком кафе, где раздавалась пророческая речь Дюфура, он, естественно, явился певцом этой надежды.

Если он говорил об участии британцев, слог его принимал бесстрастный и холодный оттенок; слушатели невольно удивлялись его спокойствию и хладнокровию. Между прочим, у него была особая манера, буквально сковавшая его аудиторию, утверждать, что отныне Германия не получит ни одного зерна хлеба. И, наоборот, когда он намекал на Россию и на ее бесчисленные войска, речь его тотчас же расширялась, спокойно и величественно. И казалось, что видишь, как движутся человеческие массы, глубокие, как земли. Если, наконец, он говорил о казаках, об этих страшных казаках, могущих провести двадцать часов в седле, выгибающих грудь колесом, чтобы лучше рубить, тогда у него в словах слышалось словно бряцание оружия, лошадиный топот, напоминавшие атаку казачьих сотен под бурю горловых криков. И лицо его принимало выражение дикости.

Известие о взятии Альткирха еще больше одушевило его ораторский талант, а взятие Мюльгаузена подняло его на такую высоту, что он сам удивился.

Эти славные события были, впрочем, описаны в письмах Арсена, который в это время ступал по эльзасской земле. Но Дюфур не читал этих писем. Он предпочитал комментировать их, что давало ему преимущество вышивать на их содержании узоры по воле своего вдохновения. Скоро он стал целиком выдумывать их.

Так, он однажды с такой искренностью и с такими подробностями рассказывал об атаке кирасирами баварского полка, что весть об этом новом подвиге, распространившаяся в квартале, сейчас же приобрела достоверность исторического факта.

Для того, чтобы придать больше веса своим уверениям, он перестал, говоря о своем бывшем приказчике, называть его «Арсеном». Он называл его не иначе, как «мой сын», так что вскоре все привыкли спрашивать у него известий об «его сыне». И он сам недалеко был от того, чтобы поверить, что Арсен действительно его сын.

Его оптимизм согревал все сердца; но в этом оптимизме не было никакого ханжества. Лишь одна твердая логика служила ему остоном.

Так, когда довольно-таки неожиданно узнали о том, что немцы развернули свой фронт от Соммы до Вогез, он один оставался спокойным среди овладевшего всеми смятения.

Отступление наших войск было лишь гениальной хитростью. Дед расставил свои сети... И армия фон-Клюка непременно попадет туда, как крыса в крысоловку.

И все это он доказывал!

* * *

Но вот произошел весьма незначительный инцидент, произведший полнейший переворот во всем его физическом и нравственном существе, которое природа, тем не менее, так великолепно сотворила.

Случай, незначительный, как песчинка, которая может испортить самую сильную из машин.

Это было в воскресенье.

Он повел жену и дочь к Клиньянккурским воротам.

И начал там, окруженный толпою любопытных, потешаться над смешными средствами защиты, применяемыми в этом секторе парижской огады. Он смеялся над цепью, протянутою поперек аллеи, над мешками с песком, кучами сложенными на откосах. Он помирал со смеху при виде детской траншеи, вырытой в земле, на месте разобранной мостовой; при виде бойниц, прорезанных в старых частоколах, и срубленных деревьев, выставлявших щетиною навстречу неприятелю кончики своих веток. Вдруг внезапно раздались звуки рожков.

Заметили «таубе»!

Из соседних постов, беспорядочно стреляя, выскочили солдаты, а пушка, стоявшая на холме, открыла огонь по этой птице смерти.

Затем раздались крики в толпе:

— Газометры!.. Газометры!..

Дюфур, воображение которого усиленно работало, почуял опасность от этих аппаратов, надувших там, за огородами, свои огромные пуза.

«Таубе», без сомнения, будет сейчас их бомбардировать. И земля взорвется больше чем на лье кругом.

Дюфур задрожал. Взглянул на своих и заметил, что дочь его зашаталась.

— Папа!.. Папа!.. Я чувствую, что умираю!—прошептала она в эту минуту.

На этот раз, увы, он не мог одолеть робости.

Сдав бедную девушку на руки жене, он покружил на месте и кончил тем, что погнался за извозчиком

которого ему удалось привести, только размахивая перед самым его носом двадцатифранковой монетой.

— Как ты бледен!..—невольно заметила г-жа Дюфур, едва только он уселся на скамеечку против нее.

— Я бледен, я? Я, пожалуй, менее бледен, чем ты. Во всяком случае, я не понимаю смысла этого замечания, которое я назову просто смешным.

— Патрис... уверяю тебя... нос у тебя совсем побелел.

— Что это такое... ты ищешь предлога для ссоры?

От бешенства он стал жестикулировать, как паяц, которого дергают за веревочки. Но в ту же минуту он весь поник. А рассчитавшись с извозчиком, он вынужден был, чтобы подняться к себе, держаться за перила лестницы.

Потрясение это оказалось роковым для него!

На следующий день он должен был сделать над собою усилие, чтобы пойти в «Коммерцию», как всегдагдаи сокращенно называли кафе, где он изрекал свои пророчества.

Он ощущал беспокойство, ум его мучили предчувствия.

Как основателен был этот страх!

С первых же слов он констатировал, что не владеет собою, как обыкновенно. Голос его потерял полноту, речь стала замедленной. Самому себе он казался скрипкой великого мастера, потерявшей свою звучность из-за незаметной трещинки. Ощущение этого упадка стало с течением времени таким навязчивым, что он начал шпионить за самим собою, и это самонаблюдение разрушило в конец то небольшое доверие, которое он еще питал к своим силам!

В следующие дни он пытался еще бороться со своей слабостью. Напрасный труд!

Тогда он решил запереться в своей квартире, таскаясь, мрачный и нервный, в туфлях, из комнаты в комнату, невыносимый как самому себе, так и своим.

Он продолжал получать письма от Арсена; но так как в них отражалась только печаль последних неудач, он с яростью рвал их. Еще немного, и он сделал бы его ответственным за все свои несчастья.

— Патрис, меня беспокоит твое состояние, — заметила однажды его жена, когда он два раза отказался от утки с репою.

— Почему ты говоришь мне это? — ответил он, украдкой взглядывая в зеркало. — Разве только ради удовольствия взволновать меня?

— Нисколько, мой друг. Я нахожу только, что тебе следует побережись немного. Если ты это так оставишь, ты опять придешь в такое состояние, как в прошлом году, когда лопнуло твое предприятие с печками-брасеро. Я знаю твою нервную систему.

— Моя нервная система здесь не при чем! Если я чем-нибудь и страдаю, то это мочевым пузырем.

— Мочевым пузырем?

— Что же, ты не знаешь, что у меня есть мочевого пузыря?

— В таком случае, надо дать себя исследовать...

— Послушай, Амели, я прошу только об одном, не занимайтесь мною, не следите за мною на каждом шагу. Если я, действительно, нездоров, я поборю свою болезнь, я перечту «Беседы» Эпиктета; но, ради бога, оставьте меня в покое...

— Я думаю, папа, — невинно вмешалась Матильда, — что ты вбиваешь это себе в голову. Когда у нас был в последний раз доктор Боре, он намекал, что ты здоров, как новобранец.

— Как новобранец!.. как новобранец!..

— Это его подлинные слова!

— Матильда права. Ты просто стал немного неврастеником. Ничего, впрочем, нет в этом удивительного, принимая во внимание переживаемые нами события.

— Вы, значит, дали себе слово!.. Бились об заклад!

— И потом, — начала опять г-жа Дюфур, — ты так извелся, так измотался. Постой-ка, ведь это началось с того дня, как ты повел нас на укрепления... Помнишь...

— На что ты намекаешь? Я запрещаю тебе устанавливать какое бы то ни было соотношение между этим несчастным инцидентом и состоянием моего здоровья. Запрещаю...

— Но, друг мой, я ничего не устанавливаю... Я просто констатирую, что ты очень нервен...

— Ну, вот! Скажи еще сейчас же, что я струсил... Ну скажи... скажи же!..

— О!.. О!.. О!.. — вскричала г-жа Дюфур.

Но он, как безумный, встал из-за стола.

Увидев, стоявший на камине, свой бюст, он схватил его обеими руками и направился с ним к двери, как бы желая его избавить от подобной сцены; возможно даже, что он хотел скрыться с ним на чердак, как сделал уже раз при подобных обстоятельствах.

— Патрис... Умоляю тебя!.. Ты меня не понял!.. Я никогда не сомневалась в тебе! Останься с нами!.. Останься!

Он остановился, бледный, как его гипсовое изображение, этот второй он сам, которого он прижимал к груди.

Видя, что жена и дочь его, с глазами полными слез, вцепились в его халат, он кончил тем, что смягчился.

Он снова поставил бюст на камин, сел и, подавленный волнением, уткнулся лицом в салфетку, откуда

слышались подавленные рыдания. После чего, успокоившись, он согласился съесть горшечек меду, который Матильда специально для него принесла из кладовой, так как мед был его любимым кушаньем.

Как все неврастеники, он оживлялся немного, только когда время приближалось к вечеру.

После обеда г-жа Дюфур надевала на него шляпу и уводила его и Матильду на прогулку. Чаще всего шли они на бульвар Орнано. Медленными шагами прогуливались они под свежестью деревьев. Иногда они садились на скамейку. И эти отдохновения среди ночного покоя самым благотворным образом действовали на его организм. Кругом царила такая тишина, что они отчетливо слышали усталую рысцу извозчицкй клячи, плетущейся в другом конце бульвара, или меланхолический звук рожка, подающего в отдаленной казарме сигнал тушить огни.

И они, молча, сидели там, под мирной вечностью звезд, возвращаясь к сознанию трагической реальности только при проходе какой-нибудь войсковой части, или когда проходил обоз с провиантом, громяхая в заснувшем городе.

И Дюфур снова принимался робко говорить о войне.

Таким образом у него явилась надежда на то, что скоро к нему вернется его уравновешенность.

И когда к нему однажды позвонил его друг Мукен и спросил, не благоразумнее ли было бы уехать из Парижа, он добрых четверть часа кричал в аппарат и в заключение заявил, что подобные вопросы даже не ставятся. При этом случае он откопал даже славные, общие им обоим, воспоминания прошлого. Он напомнил ему ужасные дни, пережитые ими с их семьями в осажденном некогда Париже. О чем же думает Мукен? Если они тогда, детьми, охотились за

крысами и часами простаивали перед конскими мясными лавками под прусскими снарядами, то не для того, чтобы теперь, мужчинами, дезертировать с этого же поста!

Кора, сжимавшая его мозг, начинала понемногу раскрываться. Вдохновение его галопом возвращалось обратно. Выздоровление было в полном ходу, и все подавало надежду, что еще немного, и он опять займет свое место в «Коммерции»!

Но он не хотел торопить ход событий.

Как человек осторожный, он не хотел неловкой поспешностью повредить своему выздоровлению.

Впрочем, оно завершалось быстрыми шагами.

Отъезд правительства в Бордо не произвел на него впечатления. Жена его даже видела, как при чтении этого известия на губах у него скользнула улыбка сострадания.

Потом она обрадовалась, услышав, как он однажды с прежней силой разразился против «исхода» парижан, против этой позорной процессии нагруженных чемоданами автомобилей, которые безостановочно катились к вокзалам.

— Пойдем, погуляем,—в тот же вечер сказал он.— Только прогулка и успокаивает меня.

И он, насвистывая военный марш, увлек своих дам веселым шагом, настоящим шагом походка.

И они давно уже миновали скамейку, на которой обыкновенно сидели, как вдруг рука Матильды сильно сжала его руку.

— Слышишь!—сказала она ему.

Он остановился, похолодев.

— Что... что еще?

— Мне кажется, я слышала пушечный выстрел.

Все стали прислушиваться.

— Ты ошибаешься,—сказала г-жа Дюфур.—То, что мы слышим там, это не пушка, это—Метро.

И вот, когда он уцепился за эту успокоительную гипотезу, эхо отдаленного выстрела потрясло спокойный воздух; то был глухой, тяжкий звук, продолжительный отгул которого указывал на ужасающую силу.

Теперь уже не могло быть сомнений.

— Я нахожу, что надо вернуться,—сказала Матильда.

— Да... да... вернемся,—одобрила г-жа Дюфур.

И, не сопротивляясь, он позволил обеим женщинам увести себя.

Им овладел тот же страх, что у Клиньянкюрских ворот!

Поддействует ли на него таким же роковым образом это второе потрясение, как первое? Симптомы, во всяком случае, были те же самые: та же пустота в голове, та же слабость в ногах, та же подавленность!

Он призвал на помощь всю свою энергию, чтобы противопоставить беспокойству своей семьи достаточно твердую внешность. Но когда жена предложила ему пойти домой вдоль бульвара, он не мог удержаться, чтобы не сказать, задержав ее у поперечной улицы:

— Пойдем здесь, здесь ближе!

И эта фраза, вырвавшаяся у него помимо воли, произвела на него немного странное впечатление: словно ее произнес чей-то чужой голос.

Все было кончено!

В следующие дни он впал в прежнее состояние. Те же разрушительные туманы окутывали его, расслабляли.

Он снова терял почву под ногами!

Впрочем, в событиях не было ничего ободряющего.

Утверждали, что уланы скачут уже в Бондийском лесу. Других видели проходящими во весь опор через Ренси.

Вокзалы брались теперь с бою.

Целые ночи люди проводили у решеток, чтобы вернее получить место в скотском вагоне.

Однако совершенно случайное обстоятельство, по счастью, несколько укрепило его выдержку. В тот вечер, когда он, у телефона, так резко клеймил французов за то, что они малодушно проповедуют бегство, у него в лавке находился покупатель, и поэтому в квартале сейчас же распространился слух о том, что нравственная сила его та же, что и раньше, и что он попрежнему, в самый разгар бури, будет подавать пример исполнения долга.

Таким образом он очутился пленником своих собственных заявлений.

Чтобы не слишком поддаться ослаблению, он прочитывал в газетах только происшествия или сообщения из Черногории.

Он избегал соприкосновения с толпою; охотнее всего гулял по пустынным проспектам; а иногда садился в трамвай у ворот Майо и доезжал до Лоншанского поля, где ободрялся при виде тысяч быков и баранов, помещенных в этой ограде.

Таким образом он кое-как держался!

Но известие о том, что Мукен удрал в автомобиле, чуть не стало для него роковым. Правда, у него нашлось несколько негодующих восклицаний по адресу друга, оказавшегося ничтожным человеком; но минутой спустя, жена поймала его за расписанием поездов.

И вот, когда все казалось уже потерянным, свершилось чудо на Марне!

Чудовищный переворот!

Дюфур мгновенно воспрянул духом!

В течение наступивших славных дней к нему вернулись все его красноречие и весь его апломб.

Он снова надел свою фетровую шляпу à la Morès, которую он на время мрачных часов заменил простой фуражкой туриста.

В окне он вывесил флаг, который было убрал.

И снова он стал появляться всюду, подбадривая тех, кто в этом больше не нуждался, громко порицая недостойных граждан, возвращавшихся теперь к покинутым очагам, тех, кто усумнился в вечной Франции, тех, наконец, кто отступил перед долгом защищать Париж, если нужно, дом за домом, камень за камнем!

Вознесенный на крыльях победы, он сделался прежним Дюфуром, Дюфуром, как всегда!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Собраться всем вокруг капитана, в четыре часа, перед ригую!—проревел Потрю, взобравшийся на кучу хвороста.—Узнаем новости!

Люди сбегались со всех сторон.

В поднявшемся шуме ясно слышался ропот.

— Если это для того, чтобы нам навьючить амуницию на спину...

— Или чтобы пятиться на заднице, точь-в-точь, как крабы, то не стоит и трогаться...

— Да не об этом речь идет, чорт возьми, а о том, что творится там, дело идет о Франции!

— Ну, а что творится там, так это мы слишком хорошо знаем.

— А чтобы узнать, как берлинский сухоручка ломает комедию под нашей Триумфальной аркой—так это поспеется...

— Молчать!—перебил Потрю.

— Похоже на то, что дело идет о большом сражении,—заявил кто-то.

— Уж не поколотили ли их на этот раз?

В умах свершился внезапный поворот.

— Крышка мрази! Говорят вам!.. Теперь капут!—раздались другие голоса.

В самом деле, распространился слух, что из главной квартиры вернулся капитан с большим, как для праздника, букетом роз у седла, наполовину облетевшим на ветер.

Кое-кто видел, как он, еще весь покрытый конской пеной, целовался со своими лейтенантами.

И когда, в назначенный час, открылось собрание, он им сообщил, что пять французских армий, под командою генерала Жоффра, повернулись фронтом к завоевателю и в непобедимом порыве отбросили его от Марны на Энну.

Наконец-то была одержана победа!

Победа, озарившая своим светом мрак, в котором они стонали от усталости, рычали от гнева, от упорной злобы!

Победа, спасавшая Францию!

Сначала было только чувство всеобщей радости, похожей на то, что должен был бы испытывать болезненно сжатый организм, возвращаясь к своему нормальному объему.

Затем радость стала выражаться словами. И это было безумие!

Одни кричали, пели, обнимались, целовались, бросали вверх свои кепи; другие стали бороться; были и такие, которые спрятались, чтобы поплакать.

— Это все не то, — заорал Барлие. — Такую новость нужно sprysнуть.

— Устроим пир на весь мир...

— Основательный!

— Только, — заметил Жанвуан, — нам не хватает конурки и жратвы.

— Ну, так я, — сказал Мюзарден, присоединившийся к их компании, — все это вам устрою.

Мюзарден был из Бельвилля; в Париже он подерживал свое существование целой кучей мелких

уличных промыслов; каждый год, при наступлении теплых дней, он отправлялся бродить по дорогам, в крепких, окованных железом, башмаках и с тысячью песенок в кармане, которые он продавал в деревнях.

— Что ты там еще откопал? — спросил его Беланже.

— Буржуазный дом, последнее слово комфорта, со всеми удобствами дачной жизни, огород, курятник, варенье в шкафах и вино в погребе за кучею хвороста, как у монахинь.

— Молодчина Мюзарден!

— Значит, идет, ребята?

— Еще спрашивает!

— В таком случае, пожалуйста за мной!

И под предводительством бродяги они устремились по лабиринту тенистых тропинок, где солдатские сапоги на каждом шагу скользили по блестящему ковру сосновых игл.

— Вот и конура! — сказал он, останавливая их перед кокетливой виллой, построенной из муравленых кирпичей и слишком правильно обсаженной кругом лесными соснами, что делало ее похожей на огромную детскую игрушку.

— А хозяйка? — забеспокоился Потрю.

— Что до этого, то я навел все справки... Исчезла сегодня утром вместе со своей горняшкою по случаю прилета «таубе», которому захотелось в этих местах напацкать бомбами. Потрудитесь войти, добро пожаловать.

Когда он толкнул садовую калитку, раздался звук спрятанного в зелени колокольчика.

Товарищам его показалось, что они слышат звон целой колокольни, и они сконфуженно переглянулись.

— Я же вам говорю, что тут нет никого!

Тогда они стали, с приемами комнатных воров, пробираться через сад.

Мюзарден, изучивший предварительно местность, проник через слуховое окно в дом и открыл им дверь в переднюю.

При виде паркета, казавшегося только что навощенным,—так он блестел,—ими овладел священный трепет.

— Однако! — приостановившись, сказал Трувион и снял кепи, в то время как Барлие отряхивался на пороге, а Жанвуан клал свой, серый от пыли, мешок на каменное крыльцо.

Но Мюзарден чиркнул спичкой и ввел их в столовую, где, с властностью собственника, распахнул ставни.

В вазах блестели совершенно свежие розы. Стенные часы привычным звуком отстукивали свое тик-так.

— Вы видите, ребята, остается только расположиться.

— Возможно, — сказал Жанвуан. — Только я не решусь положить локти на стол.

— Ты себе представляешь: вот мы тут сидим и жуем, и возвращается хозяйка! Вот бы она нам показала!

— Хозяйка! — расхохотался Мюзарден. — Да вот она! Она с тобой здоровается.

В самом деле: из рамы им улыбалась с благосклонностью пожилой провинциальной родственницы, радушно принимающей у себя своих родных, старая дама в коричневом шелковом платье, с лицом, обрамленным двумя, тщательно завитыми по английски, буклями.

— Однако! — повторил Трувион.

— Однако что? Тут проливает свою кровь! Значит, имеешь все права!

— Мюзарден прав! — высказал свое мнение Валетт. — Раз жертвуешь жизнью для защиты права собственности, самое меньшее, что могут сделать собственники, это — предоставить нам свой кров.

— Может быть, — согласился Белан.

— И потом, мы здесь не для того, чтобы заниматься политикой. Посмотри-ка лучше на эту панораму, — отрезал Мюзарден, указав широким жестом на горизонт.

В раме окна развertyвалась широкая равнина.

Под вечерним небом, насколько хватал глаз, виднелись холмы, воды, леса, поселки, спокойные жилища, откуда подымался дым, а за этими краями еще другие края, вся Франция!

Вид земли, за которую они сражались, уничтожил последнюю их щепетильность.

— И потом, — вкрадчиво сказал Патийон, мы возьмем только самое необходимое.

— Цыпленка, например.

— Цыпленка или двух.

— Или даже больше, потому что здесь полный птичий двор.

— С картошкой.

— И цикорий возьмем в саду.

— И несколько бутылок хорошего вина.

— Что до остального...

— Устроимся с тем, что найдем в шкафах.

— А потом приведем все в порядок, как у себя.

Итак, они принялись за дело, стали собирать на стол, развели в кухне огонь, стали чистить овощи, ощипывать кур, доставать из погреба вино.

А когда настала пора сесть за стол, Арсену пришла в голову трогательная, всеми одобренная, мысль оставить пустое место за столом, место хозяйки дома, которая из своей рамы, казалось, так охотно разрешала этот маленький праздник.

Но маленький праздник этот перешел в большой кутеж.

Они ели, пили, как люди, которым за огромный труд предоставляется награда.

Пришла ночь с ее огненными цветами и ароматами.

При ее дыхании тихо колебалось пламя свечей, зажженных в больших серебряных канделябрах.

И души приобщались одна другой в теплом опьянении вином.

— Мюзарден споем нам песенку,—сказал тогда Барлие.

Так как Мюзарден бродяжничал по всем дорогам со своей волынкой и можжевелевой палкой, то он знал все веселые и грустные напевы, которые поет народ в деревнях, горах и городах.

То были песни, которые поют во время сбора винограда, старые бургиньонские песенки, которые запевают, как только ударит в голову опьяняющий запах давлений; то были тоскующие по родине напевы бретонских рыбаков, где словно слышится широкий ропот моря; застольные песни Берри с носовыми звуками волынки, бравурные арии. То были, наконец, и другие песни, сверкающие, как солнце, когда оно поджаривает провансальские домики, грустные, как голос ветра в диком терновнике, живые, как щебетание птиц, меланхолические, как вечер на пастбищах.

Все разнежилось, слушая его.

Луна, принявшая цвет старого заржавленного лемеха, заливала своим бледным светом холмы, воды, леса и хижины.

— Чорт побери,—внезапно вскричал Барлие, подойдя к окну,—да сдохнешь скорее, чем уступишь им все это!

— Им уступить это!—зарычал Потрю, ударив кулаком по столу так, что вино расплескалось из стаканов.—Да будь у меня только крюк, и то я пошел бы драться с ними.

— Все же странно все, что с нами произошло,—заметил Валетт;—прежде, чем все это разразилось, каждый

жил помаленьку. Каждый делал свое маленькое дело, не больше, да ворчал понемножку. И вдруг все проснулось с душами героев. Отдали все!

— Правда, кто объяснит нам все это?—спросил Жерар.

Его вопрос заставил усиленно заработать головы. Первым заговорил Патийон.

— Они хотели забрать наше добро,—спокойно заявил он.—Так мой старик, который пошел со мною на вокзал, хотя у него растяжение жил, сказал мне вот что: «Я не богат, ты знаешь. У меня только и есть, что клочок земли, который мы вместе ковыряем, но этот клочок я ни у кого не одолжил, он мой. Он ровно кусок меня самого. Не будь его у меня, я был бы нищий... А что добыто трудом, то надо защищать. Вот и все».

— У меня нет ничего, кроме вшей,—пролаял Потрю,—а я все-таки иду.

— У тебя есть и ремесло,—заметил Трувион.—У тебя есть крюк, на котором ты носишь мясо... И рынок, где тебя знают, где люди зовут тебя... Потрю, туда... Потрю, сюда...

— Ну, и к чему же ты клонишь?

— А к тому, что люди любят свое ремесло, как любят свое имущество, и крюк твой—тоже защищать следует. Дерешься за свое ремесло, за свою работу, вот что! За работу, которую ты себе выбрал и которой хочешь заниматься всю жизнь, со своими хозяевами, и чтобы никто к тебе не лез.

— Он прав,—сказал Белан.

— Мое ремесло—это бить щебенку на дороге, но на дороге, по которой я мальчиком бегал, и в краю, на который люблю смотреть, как любят смотреть в лицо своей матери; я хочу бить щебенку среди людей, которые говорят так же, как я, и под командою г. Тордэ, который больше чем тридцать лет командовал моим отцом.

— Брось! Я вижу только одно, норов,—снова говорил Потрю.—Когда какойнибудь сукин сын вздумает искать у тебя в голове, остается только оседлать его. Мы не собаки, чтобы позволить плевать себе в харю. Я всегда говорил и повторяю: чем получить и расписаться, пусть мне лучше заткнут глотку навозом. Вот почему дерутся, чорт возьми! Сражаются потому, что они, чорт их побери, ломаются к нам в границу... А все остальное—это надувательство.

— Если так, то с этим все согласны. Каждый сражается за свою свободу.

— За свободу жить, где хочешь, и петь там, где тебе поется!—подкрепил Мюзарден.

Наступило молчание, во время которого каждому казалось, что он слышит, как в ночи трепещет эхо только что пропетых бродягою песен, песен, которые поют во всей старой Франции.

— Ну, а женщины,—вдруг сказал Белланже.—Вы забыли о женщинах!

— Отечество не курятник!—огрызнулся Потрю.

— Женщины,—продолжал Белланже... — те, кто со слезами обнимал нас, цеплялся за наше платье... те, кто украсил цветами наши ружья... Все женщины, все женщины, наконец!.. Что, по вашему, это ничего, а? А что бы мы им сказали, если бы вернулись побежденными? Мы не смели бы и глядеть на них.

— Не смели бы гулять с ними вечером вокруг деревни,—пробормотал Жанвуан.

— Не много парней плясало бы в праздник под ригой.

— Да, правда... женщины!

— И дети,—в свою очередь сказал Барлие, и лицо его, на котором все еще отражался как бы остаток гнева, смягчилось почти до слез.

Голоса умолкли.

Они уселись поудобнее среди остатков ужина, растегнув ворота и засучив рукава.

Вокруг свечей с мягким шелестом шелка носилась большая ночная бабочка.

Но Жерар поднялся.

— Ну, а если бы на этот раз оказалось нечто другое, чем все это,—сказал он, окидывая своими черными пронычательными глазами всех сидевших за столом,—нечто другое, чем земля и очаг, жена и дети, дом, где ты должен умереть, словом, нечто другое, чем ты сам?

— Да, может быть, но что же?

— Что? Идея, идея, более возвышенная, чем все, что привязывает вас к жизни... поймите меня: идея!

— Объясни, пожалуйста.

— Идея, которая делает эту войну не такую, как все остальные войны, не войной против народов, а войной против зла, войной за всеобщее счастье, за счастье тех, кого мы не знаем, кто будет жить после нас и после наших детей... война выше ненависти...

— Я уже слышал что-то такое,—пробормотал Трувион.

— Ты знаешь Фавье?—спросил его Жерар.—Маленького Фавье из третьей роты шестого батальона? Ну, вот. Так этот Фавье родом откуда-то из Ланд, где только пески, нищета и жажда; там собирают не хлеб, а лихорадку. И тем не менее, когда забили набат, он почувствовал себя, словно одержимый.

— Да, это правда, всех подняло... понесла большая волна.

— А Бенуа, пастух, который пас своих коз там, где-то, в Коссах... он никогда не видел даже карты Франции... И это не помешало ему быть убитым с ружьем в руках... Почему же сражаются Фавье, Бенуа и другие?... Потому что они, даже не подозревая этого, должны выполнить миссию, миссию повелительную,

настойчивую, миссию умереть, чтобы обеспечить жизнь грядущим поколениям... Да, мы утопим войну в нашей крови навсегда... Вот, что мы на этот раз сделаем...

Все выпрямились, дрожа от волнения.

Но вдруг какая-то тень, совершенно черная на этом лунном небе, показалась за окном.

— Так вот он где двадцатый... А вас уже два часа как ищут впотьмах... Мы уходим!

— Уже!—закричали они.

— Идем!

Накинув мешки на спину, они побежали к маленькой деревенской станции, где, тяжело дыша во мраке, их ожидал поезд.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Арсен и Патийон катили в столицу.

— За целый год сидения в тамошней грязи, мы, надеюсь, заслужили маленькую передышку,—пробурчал Патийон.—Проклятый окоп, вот чертову канаву нас заставили выкопать!

— Да здравствует Панам!..

— Подавайте нам юбочки!..

— И маленькие ляжки!—кричали в соседнем отделении парижане, обезумев от радости.

Поезд, в который они сели в ночь их знаменитого кутежа, посадил их у границ Шампани.

Они надеялись, что вместе с другими продвинуется до границы. Но, увы! неприятель всеми своими щупальцами крепко вцепился в нашу землю.

Их мечта о совершенно освобожденной французской земле, мечта одного вечера, понемногу увязла в грязи шампанского окопа.

Не пробыли они там и месяца, как Патийон получил от сарньякского звонаря письмо, призывавшее его к заболевшему отцу. Старик, совсем ослабевший и до того разбитый, что не мог ничего видеть, кроме своих колен, умер, не узнав его. Положив его в гроб, Патийон сам, на маленькой тележке, повез его в церковь, а оттуда

на кладбище, где солнце пригревает на склоне холма скромные могилы.

Горе это еще больше сблизило его с Арсеном.

Чувствуя себя отныне совершенно одиноким, он как-то инстинктивно привязался к своему новому товарищу. Он ходил за ним по пятам, как большой пес, вечно трущийся у ног своего хозяина.

И так как дома у него ничего больше не было, кроме клочка земли, теперь поросшего ежевикой и рябиной, то Арсену не пришлось долго уговаривать его, чтобы увезти с собой.

Показалась Эйфелева башня.

Патийон оперся головою о край вагонной двери—точь-в-точь спокойный бык.

— Ну, и станций же здесь!—воскликнул он.—Посмотри-ка, можно сказать, одна возле другой. Как дома на улице, господи боже!

Но поезд остановился в тоннеле.

Тогда он сел против Арсена и обхватил его колени своими огромными руками.

— Так вот он, Париж!.. этот Панам, как говорят... увидим!

— Да, увидим,—машинально повторил Арсен, думавший о Матильде.

— Это твоя родина, потому что там у тебя суженая. Ведь ты двенадцать месяцев ее не видел!.. Слышишь, старина, что я говорю тебе?.. Двенадцать месяцев!

Взоры их встретились в свете коптящей лампы. И оба одинаково покачали головами. Потому что как для одного, так и для другого эти двенадцать месяцев означали пустоту дней, долгие страдания сердец, лишенных привязанностей, бесконечную цепь мучений.

— Ну, нет,—заговорил он вдруг,—теперь, когда я вырвался оттуда, я не могу этому верить... Не могу

поверить, что Патийон залезал в грязь, потому что на голову ему сыпалось больше железа, чем орехов, когда трясут дерево. Не могу верить, что он дышал в этом чертовском дыму, что его христианская рожа превратилась в свиное рыло, что он строил парапеты из трупов, что он видел, как по полю катится облаков больше, чем по небу в дождь, а землю рвет в куски вместе с деревьями, скотиной и всем, что на ней!.. Не могу, говорю тебе... не могу.

Тут поезд снова тронулся. И мрак огласился дикими восклицаниями пантрюшаров¹⁾.

Очутившись на вокзале, Арсен почувствовал себя, как на чужбине.

Ему почти казалось, что он самозванцем втерся в эту толпу, с которой так давно не смешивался.

— Это еще не все,—сказал ему Патийон,—надо найти, куда приткнуться.

Так как он был родом из Кот-д'Ора, то они и решили остановиться в Бургонской гостинице.

Но едва вошли они в вестибюль, как увидели в зеркале отражение своих силуэтов. Первый раз, по истечении года, увидели они себя в зеркале с головы до ног.

— И ты думаешь, что они пустят к себе такие два мешка с грязью?—спросил Патийон.

И они ушли скорее, чем пришли.

— Если бы это было у нас,—рассуждал Патийон, очутившись на тротуаре,—я бы тебе сказал: пойдем к свояку. Потому что в Сарньяке, видишь ли, все немного в свойстве... Ну, а здесь...

— Мне кое-что пришло в голову,—сказал Арсен.

— И у тебя нашлись свояки?..

¹⁾ Pantruchard, на языке argot—парижанин; от Pantruche—Париж.

— Нет, старина, но я вспомнил одного приятеля... Да... Пойдем, постучим в дверь к моему другу Дюрьё.

— Э, душа моя, он, может быть, скажет, что у него не выгребная яма.

— Никогда... Он мне совсем как брат.

— А где ты познакомился с этим Дюрьё-то?

— В Филармонии 18-го района, где он играл на фаготе, а я на флейте.

— А ты играешь на флейте?

— И играю, и не играю. Я уже начинал немного свистеть на ней. А стал я учиться ради м-ль Матильды, которая музыкантша, как святая Цецилия. Во время наших воскресных прогулок, я уже насвистывал ей песенки на окарине... Но, знаешь, окарина—это не важная штука... ну, а флейта, ты понимаешь...

— Да, да... но твой приятель?—перебил Патийон, которого не очень-то интересовала эта история с флейтой.—Кто тебе сказал, что ему не всучили ружья, как другим? Может быть, он теперь уже зуав?

— Зуав? А, да, конечно!.. В зуавах 22-й секции! Он воюет в казарме Шарра и половину времени употребляет на приготовление себе декоктов. Он, бедняга, ничего не выносит, даже молока, все у него назад идет. У Шартье, где мы иногда вместе завтракали, он спрашивал всегда мозги или пюре с полубутылкой виши.

Дюрьё, который, к счастью, был дома, открыл им дверь; на нем было ватное пальто, из-под которого выглядывали концы его красных штанов.

При виде двух бородачей ¹⁾, только что, казалось, выскочивших из своего окопа, он медленно попятился назад.

¹⁾ Французы называли во время войны своих солдат «рош», что значит «волосатый», так как они все обросли бородами.

— Не узнаешь меня?—спросил Арсен.

Дюрьё продолжал смотреть на него своими голубыми, с расширенными зрачками, глазами, пожалуй, слишком красивыми, оттененными шелковистыми ресницами.

— Я—Арсен... Помнишь, Арсен, приказчик Дюфура.

— А! Да, да...

— Неужели я так изменился?

— Да нисколько,—поспешил тот ответить, все больше теряясь.—Только, видишь ли, ты стоял против света... И потом, неожиданность, волнение. Но войди же, закусишь...

— Нас, видишь ли, двое.

— А хотя бы вас было десять!

— Представляю тебе Патийона, моего друга Патийона...

— Очень приятно...

— Моего боевого товарища.

— Вдвойне приятно, в таком случае, познакомиться с вами. Расположитесь, как вам удобнее... А я к вашим услугам...

Дюрьё был человек робкий и слабый, очень щепетильный и совестившийся того, что он служит в вспомогательных войсках.

И он, с растерянным видом, кружил по комнате, не зная, что придумать, чтобы получше устроить этих двух молодцов, которые, как ему казалось, прямо из ада очутились в его мирной комнате холостяка.

— Ну, а как музыка?—спросил Арсен, желая привести его в хорошее настроение.

— О, я больше не занимаюсь музыкой,—вскричал он, словно в вопросе этом заключался упрек.—Честное слово, больше не занимаюсь!

— Правда,—пошутил Патийон,—в настоящее время скорее мы занимаемся музыкой.

— Ах, ты мой бедняга!—вскричал Дюрё, сжимая в своих руках обе руки товарища. Воображаю, что ты видел там... Мне даже подумать страшно... Но погоди же, что я могу сделать для тебя?.. Попроси у меня чего-нибудь... придумай... приказывай!

— Ну, вот, мы ищем комнату.

— И ты хочешь взять мою?

— О, нет!

— Хочешь, говорю я тебе?

— Ну, а ты, в таком случае?

— Я... я... со мной не считайся! И к тому же я, как сопровождающий, должен ехать немедленно в Гавр... Я еду туда с перископом подмышкою... Значит, так, да?.. Вы поселитесь у меня.

И быстрее, чем если бы дело шло о спасении их жизни, он раскрыл им свои шкапы, ящики, чулан, приготовил постель на ночь и вытащил для них две пары туфель.

— Вот, я хочу, чтобы вы ни в чем не нуждались. А теперь,—прибавил он,—давайте-ка ваши шинели. Так как женщина, которая убирает у меня, придет только завтра, я вам вычищу их.

— Этого мы не допустим...

— Вы мне позвольте это сделать... Ведь я не устал, чорт меня возьми!

— Но ведь ты все запачкаешь!—взмолился Арсен.

— Запачкаю!.. чем?.. Думаю, не той грязью, которую вы принесли оттуда?

И схватив палку, он принялся выколачивать эту славную грязь, куски которой скоро покрыли пол, легли на стулья, примешались к ворсинкам коврика.

— Постойте, м-сье Дюрё, постойте,—протестовал Патийон.

— Да оставьте, я же вам говорю, что это доставляет мне удовольствие.

И он продолжал колотить с лихорадочной яростью, как человек, наложивший на себя епитимию.

— Позвольте мне еще подмести здесь немного, и тогда я уступлю вам место,—сказал он.—Да, чуть не забыл... Вот ключ от входной двери... Значит, мы условились, правда? Печенье в буфете... простыни в шкафу. Таз для умывания под кроватью... А папиросы — вот... Не стесняйтесь, если захотите высыпать табак в трубки... До свидания, счастливо оставаться.

— Ну, цыпленок мой,—вскричал Патийон, когда Дюрё скрылся,—ты не надул меня... Вот приятель, так приятель, хоть куда!

* * *

Арсен, с букетом роз в руке, шел по улице Клинь-янкур.

Мысль о том, что через несколько минут он увидит Матильду, вселяла в него некоторую тревогу.

Он спрашивал себя, какое чувство она проявит по отношению к нему.

Чтобы успокоиться, он замечал с удовольствием, что ничто вокруг него не изменилось...

В самом деле, все кругом было, как прежде.

Так, снова увидел он гигантские часы, служившие вывеской часовому мастеру, к которым обращали свои взоры соседи, желая проверить свои стенные часы, увидел табачную лавочку, где царила прекрасная г-жа Орсини, прическа которой так же искусно сохраняла равновесие, как коробки с сигарами, много лет окаймлявшие ее пышную красоту; увидел также в полутьме

аптеки череп г. Тардье, освещенный зеленоватым отблеском одного из его графинов.

Потом он увидел скобяную лавку.

Мари была там. Она была одна в лавке.

При виде ее спокойного лица, светящегося добротой, он почувствовал ту же отраду, как в тот далекий уже вечер, когда она так просто предложила проводить его на вокзал.

И, не колеблясь больше, он поднялся к Дюфурам.

То был час, когда Матильда упражнялась в пении.

На площадке лестницы слышались рулады вперемжку с трелями.

«Как прежде», еще раз сказал он себе.

И почерпнул в этом новую надежду.

Но когда дверь открылась, он очутился лицом к лицу с новой особой. То была горничная, которой ее крошечный кружевной чепчик и изящно сплассированный передник придавали кокетливый вид субретки.

Первое впечатление его было, словно он попал совсем не в те края.

Как только он вошел, он почувствовал, что ноги его погружаются в толстый шерстяной ковер. Зеленые растения придавали веселый вид вестибюлю со свежестенными стенами.

А столовая, куда его ввели, обогатилась готической мебелью, которую сериями фабрикуют в Сент-Антуанском предместье.

Так как он с изумлением смотрел вокруг себя, маленькая горничная раза два переспросила его:

— А вам наверно сказали зайти к г. Дюфуру?

— Да, конечно... Я Арсен.

— Арсен? Ну, пойду доложу барышне,—сказала она, проходя в гостиную.

Рулады прекратились было, но почти тотчас же возобновились, еще разнообразнее и быстрее, из чего он заключил, что об его присутствии доложено; тогда он, не выпуская букета из рук, уселся в самом темном углу комнаты.

Минуту спустя он увидел перед зеркалом вестибюля г-жу Дюфур, собирающуюся выйти; она была затянута в корсаж, весь покрытый пальтками, блестящие чешуйки которых придавали ей некоторое сходство с огромной рыбой, плавающей в аквариуме.

Ее сопровождал громко говоривший адъютант, который, прежде чем открыть ей дверь, надвинул себе на уши шмятое, по унтер-офицерски, фантастическое кепи.

Арсен, забившись в уголок, начал желать, чтобы Матильда никогда не кончила своих вокализ.

Но не успел он формулировать своего желания, как этот каскад звуков резко оборвался. Сухо стукнула крышка рояля. И дверь открылась.

— Вот как, где же вы спрятались?—спросила Матильда.—Что это, или вас наказали?.. Идите сюда, да поскорее... и поцелуйте меня... Да... да... вы меня поцелуете... Это право, признанное за всеми, без исключения, «бородачками»... Вот сюда, в эту щеку, вот тут, где я палец приложила... А теперь пойдемте, сядьте против меня.

И она указала ему стеганое шелковое кресло, подушка которого, набитая пухом, мягко опустилась под его тяжестью.

Сперва он был очень удивлен. Ему показалось, что она очень изменилась с тех пор, как он ее видел. Он нашел ее расцветшей, больше женщиной. На ней было матине из розового вуаля, оставлявшее ее руки наполовину обнаженными и вырезанное спереди почти до груди. От всей ее особы, от молочно-белой

кожи, от чуть-чуть подкрашенных над белыми зубами губ, от ее томного взгляда, от улыбки отделялся своего рода сладострастный запах, примешивавшийся к ее прежнему очарованию.

— Вы еще никого не видели? — небрежно спросила она.

— Нет, никого, — поспешил он ответить, повинуясь странному чувству, помешавшему ему говорить с ней об адъютанте, которого он видел в передней с г-жей Дюфур.

— Позвольте, я освобожу вас от вашего букета, — начала она после некоторого молчания.

— О, простите меня, — пробормотал он. — Не знаю, право, где моя голова. Цветы эти для вас.

Но, поклонившись, чтобы передать ей розы, он невольно вспомнил о всех других букетах, которые некогда приносил ей, об этих несчастных букетах, которые он часто вынужден бывал оставлять на стуле или на рояле и которые, после его ухода, г-жа Дюфур подбирала и ставила в вазы, в гостиной.

— Простите меня, — прибавил он, — но меня очень легко смутить.

— Вас, такого храброго солдата?

— Мне кажется, я стал еще более робким, чем был когда-то. Вот, например: вряд ли я решусь теперь назвать вас Матильдой.

— Можете... Меня не крестили другим именем.

— Это глупо, не правда ли? Это тем более глупо, что имя это всегда оставалось дорогим для меня. Я так часто повторял его в течение целого года. Мы все там такие понемножку. Жизнь мрачна. Один день похож на другой. И вот, у каждого из нас есть имя, которое он твердит. Это словно маленькое пламя, загорающееся во тьме, немного поддерживающее тепло вокруг сердца...

— Очень мило все, что вы говорите, знаете, очень мило... И я очень тронута... Но почему письма ваши

скрывали от нас эту грусть? Если бы я только подозревала, я, у которой нет крестника...

— Крестника?

— Ну, да, мне доставило бы большое удовольствие усыновить вас.

— А!

— И писать вам, посылать вам иногда сласти...

При слове «крестник» у него слегка закружилась голова.

Ее крестник! Она сказала: крестник! Что это за комедию она играет с ним?

Ему казалось, что он видит на ее губах ироническую улыбку, но когда голова ее переместилась в тени розового абажура, выражение насмешки исчезло. Может быть, ее вызвал только световой эффект?

Тогда он опять начал говорить. Он столько вещей должен был сказать ей.

Только ему казалось, что все, что он ни говорит, все впустую. По мере того, как нанизывались фразы, ему все явственнее казалась тщета его слов.

У него было впечатление какого-то обмана, жестокой игры под видом дружеской болтовни.

Пока он ожидал, не смея сам его вызвать, случая, который разъяснил бы это положение, он разглядел на столике, стоявшем между ним и Матильдой, фотографию фатоватого унтер-офицера, выпятившего грудь, на которой были наведены медали за службу в колониях.

Он тотчас же узнал адъютанта, вышедшего с г-жею Дюфур.

— Представляю вам моего мужа, г. Поля Эскарт-фиг, — сказала тогда Матильда, следившая за направлением его взгляда.

Потрясение было так сильно, что Арсен слегка покачнулся на своем кресле, и глаза его заморгали.

Всетаки у него хватило силы наклониться перед портретом, словно приветствуя его.

— Поздравляю вас,—сказал он.

Но когда смущение его прошло, он испытывал—странное дело!—только чувство облегчения. Положение, правда, было горестное, но оно имело, по крайней мере, то преимущество, что стало поразительно ясным. Новость эта, одним ударом уничтожившая его прежние притязания, взамен этого вывела его из невыносимо ложного положения.

У него оставалась одна забота: спасти свою гордость.

— Поздравляю,—повторил он.—Правду сказать, я подзревал кое-что... Вид всей этой роскоши!

— Вы ошибаетесь, мой милый, все это не дело рук моего мужа. Надо вам сказать еще одну вещь: папа на пути к тому, чтобы стать крупным богачом. Он работает в настоящее время на войну. Помните вы печибрасеро? Ну, так вот, он принялся выделывать из запа-сов, которые у него были, крыши из волнистого листового железа. Да, дорогой Арсен, эти маленькие крыши, под которыми вы можете укрыться,—произведение моего отца.

— Прекрасная мысль!

— Чтобы быть справедливой, я должна еще прибавить, что идея-то, собственно, моего мужа. В сущности, он и мама занимаются этим делом, у него прекрасные связи... через его министерство.

— Какое министерство? Я думал...

— Мой муж служит в военном министерстве... Я вам объясню. Поль служил в колониальных войсках. Он сражался на Мадагаскаре и в Марокко. Он из тех, кто, как говорит папа, оплодотворил своей кровью эти отдаленные земли отчизны-матери. Это храбрец. К несчастью для него, он был ранен при самом начале враждебных

действий. Он был тогда в каком-то главном штабе, был бы там и сейчас, если бы не падение с лошади, при котором он получил контузию...

— Я понимаю вас.

— И вот из-за этой раны его расхвалили в приказе и дали ему место, которое он занимает в военном министерстве. В сущности, прекрасная вещь, потому что, как ни скромна эта должность, она дает ему возможность перехватывать все нужные нам заказы. Но это, как говорит мой муж, это сторона «business». Как видите, дорогой друг, мне не на что жаловаться... Я счастлива, очень, очень счастлива!

— От всей души радуюсь этому,—ответил Арсен.

И, словно, узнав обо всем этом, он захотел быть сдержаннее, он поднялся с места.

— Ну, нет, вы так не уйдете...—вскричала Матильда.— У меня слишком много есть, что рассказать вам... Не так часто встречаешь людей, интересующихся вами и вашим счастьем. Я так хотела бы посвятить вас в тысячи мелочей моей жизни... Ну же, оставайтесь.

Как ни как, он чувствовал себя польщенным, потому что никогда еще она не была так любезна с ним.

— Ну, хорошо,—сказал он,—я остаюсь.

— Тогда давайте пить чай.

Она позвонила горничной.

— И затем я задержу вас к обеду,—прибавила она.

— Право, я не смею согласиться.

— С сегодняшнего дня я ваша крестная мамаша. Это значит, что вы не можете ни в чем мне отказать.

— Вы меня слишком балуете... Нет, правда, я сконфужен.

— Не ломайтесь... В глубине души вы очень довольны... Ну, я буду вас угощать... Один или два куска

сахару?.. Я налила очень мало молока... Слегка только подбелила, предупреждаю вас... Но сливочник на столе...

Откинувшись немного в кресле, она положила ногу на ногу и чуть-чуть раскачивала ее, что вызывало игру света на розовато-лиловом шелковом чулке. Когда он увидел ее в этой позе, смутно напоминавшей ему те чуточку гривуазные рисунки в светских журналах, которые им давали в траншее, по прочтении, офицеры, в нем зажглось желание, так долго подавляемое в его бедном теле.

— О чем же вы думаете, дорогой мой крестник?.. Вы меня ни о чем не спрашиваете?

— Нет, как же, охотно... Так, значит, это замужество... я думаю, это недавно случилось, иначе я знал бы о нем.

— Я замужем уже три месяца.

— А!

— И я думаю, что скоро мы уже устроимся. Мы наняли чудную квартиру в угловом доме, в четвертом этаже, на улице Курсель. Сейчас я до одурения бегаю по магазинам, все закупаю, все эти очаровательные безделушки, которыми так любит окружать себя новобрачная... Это будет восхитительно, вы увидите...

— Нисколько не сомневаюсь в этом. По женщине и гнездышко, как говорит пословица.

— У нас будет мебель в стиле Людовика XVI. Мой муж, как деловой человек, хотел иметь меблировку в стиле Мапл¹⁾. Но разве вы не находите, что стиль Людовика XVI лучше?

— Ну, конечно, Матильда.

— Надо вам сказать, что мы получили массу подарков. Особенно милы были Мукены. Они преподнесли нам

¹⁾ Английская комфортабельная мебель.

для нашей туалетной комнаты великолепный прибор баккара. Вам, я думаю, нравится баккара?

— Я, право, никогда не видал.

— Это будет одна из лучших комнат. Я только колеблюсь немного насчет освещения над зеркалом. Я хотела заделать лампочки в маленькие шелковые цветы mauve. Мне кажется, что mauve больше всего красит цвет лица.

— Да, Матильда.

— Наконец, вы увидите нашу кровать... Настоящее чудо... Вся она перевита гирляндами из роз.

Арсен, очень внимательно ее слушавший, в эту минуту возымел потребность перевести разговор на другую тему.

— Когда я вошел,—сказал он,—я заметил, что голос ваш очень развился.

— Да, я много работаю. Голос мой стал так силен, что его слышно во всех соседних домах; папе это немного неприятно, из-за войны. Но что же делать? Каждый обязан вернуться к своим прежним привычкам. Подумайте, а если это продлится еще долго... Еще рюмочку малаги, а?.. О, не кривляйтесь, Арсен.

— Вы меня напоите... Пожалуйста, не наливайте полно... Прошу вас... вот так... спасибо.

— Хорошее вино, не правда ли?

— Превосходное!

— Муж мой считает его очень хорошим. Только он говорит, что оно быстро ударяет в голову. В предупреждение, он всегда взбивает в нем желток.

Она подняла букет, который положила было у своих ног, и долго нюхала его.

С некоторых роз упали лепестки.

— Видите, Арсен, вы выбрали слишком распустившиеся.

— Правда.

— Не примите этого за упрек, пожалуйста.

Лепесток упал ей на грудь. Она взяла его указательным и большим пальцами и подбросила вверх; при этом движении рукав скользнул по ее руке, заблестевшей до самого плеча.

Попивая по капелькам свою малагу, жар которой начинал ударять ему в голову, Арсен пожирал глазами Матильду.

Он думал, что, если бы не война, эта женщина была бы его, он обладал бы этим восхитительным телом. Мысль, что он был на пути к этому счастью, внушила ему нечто в роде гордости.

И так как он почти бессознательно не сводил с нее глаз, она улыбнулась и наклонилась к нему.

— Признайтесь,—шепнула она ему,—что вы были когда-то немножко влюблены в меня.

При этом вопросе он вздрогнул.

Сначала он подумал, что ослышался. Неужели она могла задать ему такой вопрос?

— Вспомните,—настаивала она,—этот вечер у Дегува и террасу, где мы уединились в темноте. Разве не так началось?

Тогда он решил признаться.

И он признался так, словно никогда не было сделано никакого намека на его любовь к ней.

С его стороны это было настоящим признанием, но признанием, которое могло бы расцвести только в мире мертворожденных чувств, в мире химер, где цветы вянут, не успев родиться, где ткани линяют раньше, чем подверглись ласке солнечного луча, и где сердца являются на свет божий, отягченные воспоминаниями раньше, чем они начали жить.

Она слушала его, польщенная.

— Итак,—шептал он,—вы интересуетесь этим, этими пустяками, после великого события, обогатившего вашу жизнь?!

— Поневоле интересуешься всяким приключением, в котором замешан.

— Вы говорите о приключении, Матильда, куда замешала вас только моя мысль.

— Все равно, теперь я хочу знать...

Не заставляя больше просить себя, он позволил увлечь себя на наклонный путь воспоминаний, всех старых воспоминаний, интимное значение которых он дрожащим голосом пояснял перед нею теперь, когда прошло уже больше года.

Он напоминал ей о завтраках в Булонском лесу, об их мирных прогулках в Аклиматизационном саду ¹⁾, об их остановках под свежими сводами Аквариума и об их молчаливых возвращениях домой по аллеям, напоенным ароматом акаций.

— А тот день, когда ваша шляпа чуть не упала в воду...

— Мы бросали лебедям большие куски хлеба. Вдруг поднялся сильный порыв ветра. Шляпа улетела...

— Но я успел поймать ее за ленту. Это была шляпа из рисовой соломы, на которой были наколоты два бархатных анемона...

— Вы помните эту подробность?

— У меня не очень-то хорошая память; но все, что касается вас, я отлично помню.

— Например?

— Я помню, как однажды в воскресенье, когда мы пошли смотреть туарегов, на вас было муслиновое платье, все усеянное маленькими букетиками; а в

¹⁾ Ботанический и зоологический сад в Париже.

следующее воскресенье вы то же платье перевязали белым шелковым шнуром. Еще помню, как однажды вечером мы сидели в Луна-Парке рядышком на первой скамейке у водопада, и на ваших башмачках были пришиты старинные пряжки, которые г-жа Мукен подарила вам ко дню вашего рождения.

— Луна-Парк! — вздохнула она. — Как это было весело! И кажется, будто это было давно, давно!

Это так мило высказанное сожаление окончательно опьянило его.

Продолжая беседовать, он в мираже вновь переживал свою жизнь до войны. Он не был больше солдатом 17-й секции, книжка 824; он снова сделался м-сье Арсеном, приказчиком Дюфура, при скобяной торговле, претендентом на руку м-ль Матильды.

— Вот сюда, закрыв магазин, я приходил каждый вечер, — продолжал он. — У этого рояля я перелистывал для вас страницы всех этих хорошеньких романсов: «Цыганское Сердце», «Женские Руки», «Кузина».

— «Когда умирает любовь», — прибавила она.

Он взглянул на нее, совершенно смущенный. Последняя фраза произвела на него впечатление душа холодной воды.

Он не знал больше, что ему сказать.

Очарование было нарушено.

— Я думаю, скоро придет мой муж, — сказала она, взглянув на часы на своей руке. — Он пошел не надолго с мамой.

— Так я покину вас.

— Я это сказала вовсе не для того, чтобы вы ушли, — сказала она. — Но вот что: до обеда вы могли бы пройти в «Коммерческое кафе». Там вы наверно найдете папу. Сделайте ему этот сюрприз. Значит, так... да?.. Итак, до скорого свидания.

* * *

Был уже вечер.

Арсен остановился на минутку на темной лестнице, держа руку на перилах.

В груди он ощущал тяжесть своего сердца, бедного сердца, которое всегда обманывали и которое так легко было оскорбить.

Когда он спустился на тротуар, он снова увидел лавочку, теперь освещенную, и в ней Мари, сидевшую у конторки, где некогда царила г-жа Дюфур.

У него явилось было желание подойти к скромной девушке; но какая-то сила удержала его.

Ему казалось, что будет профанацией, если он протянет к ней руки сейчас же после того, как покинул другую. Новое чувство, зародившееся в его душе, запрещало ему идти к ней так, как кидаются на всякое развлечение, лишь бы забыться. Она не заслужила этого унижения.

И потом, разве он не был уверен, что найдет ее всегда готовой смягчить его горе, утешить его?

Разве она не была его другом в тяжелые дни?

И он направился прямо в «Коммерческое кафе».

Войдя туда, он увидел Дюфура, более величественного, чем когда бы то ни было, игравшего в карты с несколькими из своих приверженцев.

Должно быть, он обдумывал какой-нибудь решительный ход, потому что строгий взгляд его испытующе переходил с одного лица на другое, между тем как в поднятой руке у него дрожала, над головой игроков, карта.

Арсен хотел броситься к нему.

Но лакей, все тот же Эрнест, помешал ему, приложив палец к губам.

— Манилльон ¹⁾ вышел,—сказал Дюфур, устремив взор на воображаемую точку в пространстве.—Я играю в пиках... Итак, ходите!..

Арсен был уверен, что старый хозяин уже заметил его.

И тем не менее он ждал конца партии, чтобы подойти.

— Вам ходить, Пакотт... мы возьмем все взятки...

И только, когда последняя карта была бита, Дюфур решился, наконец, протянуть руки по направлению к Арсену.

— Подойдите, дитя мое,—сказал он ему своим звучным голосом,—обнимите меня... Я очень счастлив, что опять вижу вас. Потому что вы вели себя, как храбрый из храбрых... Да, я горжусь вами... И хочу, чтобы все это знали.

— Он несколько не изменился,—сказал Белиар, с искренним волнением пожимавший ему руки.

— Он даже поздоровел, этот головорез,—прибавил Тардье.

— Так и должно быть. Мы, французы, в противность нашему чудному темпераменту, вынуждены вести войну на выдержку, войну на истощение. Значит, нужно, чтоб был запас фитиля.

— Не беспокойтесь, г. Дюфур, хватит.

— Вы слышали, вы все!..—вскричал Дюфур, указывая на Арсена всем посетителям, вплоть до игроков на бильярде, которые, там, в глубине помещения, прервали свою игру...—Вы слышали? Таковы они все, наши храбрецы.

— Что прикажете подать г. Арсену?—спросил Эрнест.

— Стакан оршаду, как и мне,—приказал Дюфур.

¹⁾ Название туза в игре в маниллу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Вот наш бородач,—воскликнул Дюфур, проталкивая Арсена в столовую, где была уже в сборе вся семья.

— Дорогое дитя мое,—сказала г-жа Дюфур,—вот поставили нам радость! Подумайте, не дальше, как сегодня утром мы вспоминали вас!

Потом, поставив его под свет лампы, она вскричала:

— Взгляни на него, Патрис, да взгляни же хорошенько, у него великолепный вид.

— В «Коммерции» все сказали ему то же самое.

— А теперь,—опять заговорила она,—повернитесь в эту сторону, чтобы я могла представить вас моему зятю... лейтенанту Полю Эскартфигу, нашему дорогому Полю!

— Очень польщен, г. лейтенант.

Эскартфиг, в сущности, был адъютантом, но семья, сообразуясь с привычкой, усвоенной Дюфуром, кончила тем, что пожаловала ему высший чин.

«Дорогой Поль», которому было не меньше сорока пяти лет, вместо ответа, скорчил усталую гримасу, от которой его красноватое лицо покрылось морщинами.

Вообще он не двинулся со своего стула, на котором сидел верхом; он был закутан в халат с шелковыми шнурками, а на ногах у него были вышитые туфли.

— Мы принимаем вас, дорогой Арсен, без всяких церемоний,—продолжала г-жа Дюфур,—угостим вас, чем бог послал.

— Вот это именно и приятно мне.

— Что поделаешь, нельзя ничего достать. Или, если найдешь, то цены чудовищны. Приходится выдумывать такие меню... Но не в том дело... Куда мы его посадим?

— Посадим его около его лейтенанта,—предложил Дюфур.

— Но у Поля привычка читать газету за обедом.

— В таком случае...

— В таком случае, я посажу его между мной и Матильдою.

Арсен сел на указанное место и приготовился отвечать на вопросы, которые, конечно, ему зададут. Но никто ни о чем не расспрашивал его.

И действительно, горничная принесла почту—отчет «Лиги» для Дюфура и письмо для Эскартфига; тот вскрыл вилкою конверт и принялся читать, страшно хмурия брови.

— У вас недовольный вид,—заметила г-жа Дюфур.— Что-нибудь неприятное для наших поставок?

— Да нет же... нет...

— Я думаю, у вас нет на этот счет других намерений, дорогой Поль?

— Вот еще!—вскричал он с сильным южным акцентом.—Или вы воображаете, что я уж и не знаю, как за дело взяться! Я был бы трусом, если бы отдал это железо вице-интендантству. Я сплавлю его прямехонько инженерному управлению, они примут его у меня без комиссии и заплатят больше.

— Дело в том, что...

— Ведь, говорю вам, у меня все козыри в игре. Без этого я, конечно, не рискнул бы. Полная рука козырей, говорю вам, как в бридж у полковницы.

— В таком случае, завтра рано утром вы должны быть в Версале.

— А вы думаете, что это меня стесняет? Я и не то видал на своем веку. Когда мне приходилось, черт меня побери, в четыре часа утра вытаскивать койку на двор и мыть ее ножки в керосине, никто не интересовался вопросом, будет ли у меня после этого мигрень или нет.

Тем не менее он успокоился.

Но как только возбуждение его улеглось, г-жа Дюфур снова заговорила о деле. И поднятый ею вопрос о листовом железе доставил им материал для бесконечного разговора.

Дюфур воздерживался от участия в этой беседе.

Было ясно, как день, что в этом он ровно ничего не понимает. Но эта некомпетентность в таком специальном, таком прозаическом вопросе не могла унижить его престижа в глазах Арсена.

Для него Дюфур всегда оставался Дюфуром.

Он заметил, между прочим, что жена его уже не так исключительно занимается им, как некогда; добрая часть ее забот была перенесена на зятя.

В эту минуту она не сводила с него глаз, потому что, в ожидании возвешенной телячьей головы, он, с очень недовольным видом, расчесывал маленький лишай у себя на щеке.

Он нахмурился, и г-жа Дюфур, не выдержав, спросила его:

— Скажите, Поль, вы не чувствовали сегодня ночью болей в печени?

— Но нет же, *belle-maman*...

— Ты говоришь нет, — вмешалась Матильда. — А я замечу тебе, что ты несколько раз ворочался в кровати и при этом каждый раз тяжело вздыхал.

— Правда? — спросил он с оттенком беспокойства в голосе.

— На это нужно обратить внимание, — посоветовала г-жа Дюфур.

— Я ничего не чувствую, решительно ничего, — сказал он, надавив пальцами у себя под ребрами.

Тем не менее, замечание это вызвало в нем постоянно дремавшую глухую злобу.

— Подумать только, что я двадцать лет прослужил в колониях, — пробурчал он; — двадцать лет нубы ¹⁾ старых негритянок и ежедневно абсент; солнце, сжигающее вам кожу, москиты и прочая дрянь, что несколько не мешало мне с восходом солнца отправляться на охоту на газелей, а вечером возвращаться, паля в воду, так как иначе крокодилы отхватили бы у меня пальцы на ногах. И вот, после всего этого я вернулся свежий, как огурчик, а трех месяцев жизни в этой яме оказалось достаточным, чтобы привести меня в такое состояние... О чорт!

— Я понимаю вас, мой дорогой Поль, — вскричал Дюфур, желавший блеснуть своим зятем. — Эта война кротов, которую нам навязали кайзеровские апаши, это — не ваша война. Что они сделали с рыцарскими сражениями доброго, старого времени?.. Куда девался Фанфан-ла-Тюлип ²⁾?

¹⁾ Музыка алжирских стрелков, на местных инструментах.

²⁾ Тип солдата, созданный певцами, любящий одинаково и жизнь, и славу и всегда готовый защищать то, что кажется ему справедливым.

— А вы захотели найти теперь Фанфана-ла-Тюлип! Почему же не трех мушкетеров?

— Но, друг мой, война, как вели ее наши предки, эта мужественная война, этот бой лицом к лицу, освещаемый солнцем чести, — вы все это продолжали там, в колониях!

— Ну, вот, а я предлагаю вам другую тему для разговора.

— Зачем же, — настаивал Дюфур, — вы не имеете права закапывать в землю столь славное прошлое... Подождите, вы должны рассказать Арсену об этом знаменитом сражении... на Мадагаскаре.

— Я уже больше двадцати раз указывал вам, что бой этот имел место не на Мадагаскаре, а в Дагомее.

— Конечно, в Дагомее. Расскажите ему, как ваши батареи открыли огонь и как канаки ¹⁾ взлетели на воздух вместе со своими стрелами и палицами.

— Повторяю вам, — сказал Эскартфиг, украдкой поглядывая на Арсена, — что ремесло солдата — воевать, а не болтать о войне.

Дюфур замкнулся в молчание, полное достоинства.

Затем разговор зашел то о том, то о сем; говорили о кухарке, у которой была дурная привычка жарить лук на кокосовом масле, о дочери мясника, у которой удалили гланды, о цене яиц и о статьях Гюстава Эрве.

Дюфур жаловался на плохое глажение воротничков, которые сдирают у него кожу с шеи, а дочь его ругала булочника, так как его произведения мешали ей спать.

Казалось, о присутствии Арсена совершенно забыли.

Но вот он, передавая г-же Дюфур второе, уронил к себе на тарелку ложку с блюда.

¹⁾ Жители Новой Каледонии.

Большого и не требовалось, чтобы собака, попрежнему кушавшая на коленях у своей госпожи, яростно залаяла на него.

— Мама,—вскричала Матильда,—смотри, Фруфру узнала Арсена.

— Ты думаешь?

— Ну, конечно. Раз она так лает, значит она узнает его... О, дорогая! Амурчик мой!

Арсен, сконфуженный, протянул руку, чтобы приласкать «дорогую», но та оцетинилась и чуть не выскочила из рук своей госпожи, которая, чтобы успокоить ее, ткнула ее мордочкой в сливки.

— Ну, что, Арсен?—сказала тогда г-жа Дюфур.

Теперь, когда моська снова привлекла внимание на его скромную особу, все стали смотреть на него.

Смотрели и только.

Это был как бы остаток любопытства.

В особенности г-жа Дюфур не сводила с него глаз.

И пока ее зять, которому подано было особое блюдо, называемое им «бифштекс по рецепту», шупал у себя под ребрами, она несколько раз поводила головою в сторону то одного, то другого.

— Уверю вас, Арсен, что у вас гораздо лучше вид, чем раньше,—наконец сказала она. — Я даже ничего не понимаю... Вот, наш Поль, например, за которым уход хороший... И что же, вечно он плохо себя чувствует... То у него насморк... то мигрень... то желудок не в порядке... то бессоница.

— Это, знаете, жизнь на свежем воздухе, движение,—объяснил Арсен.

— Вы даже едите гораздо больше, чем раньше.

— А что, разве я не говорил тебе, что война, если она не косит людей, то возрождает их.

— Это правда. Вот, например, сын прачки, который приезжал в отпуск месяца три тому назад. Перед войной это был несчастный, хилый, рахитичный субъект, место которому было скорее в санатории. А теперь...

— А теперь он умер,—закончила горничная, убиравшая блюдо.

— Как, умер?

— Да, в госпитале, куда его эвакуировали недели две тому назад.

— Вот как! А от чего же он умер?.. Потому что ведь...

— Если это вам интересно, я могу спросить у прачки. Она поэтому и не пришла сегодня. Она получила извещение о смерти сегодня утром.

— А!

Но в ту же минуту у входной двери, в передней, раздался звонок.

* * *

— Это наши гости!—воскликнула г-жа Дюфур, вставая с места.—Который же час, боже мой?.. Скорей, скорей, гипюровую скатерть и прибор для ликера... вон тот, с золотыми ободочками...

Поднялась всеобщая суматоха.

Эскартфиг, с помощью горничной, лихорадочно зашнуровывал свои сапоги; Матильда пудрила пуховкой щеки и кончик носа, а Дюфур, стоя у зеркала, откидывал назад свою львиную гриву.

— Попросите войти,—сказала г-жа Дюфур.

Дверь открылась, пропуская трех офицеров.

То был майор де-Лиенн, мундир которого был украшен орденом Почетного Легиона и академическими пальмами, лейтенант Монруа и лейтенант Бартеlemi, последний в сопровождении жены.

Эти три товарища Эскартфига, служившие в администрации, были единственные офицеры, которых имел счастье знать Дюфур. Он был так горд, принимая их, что еще немного, и он смотрел бы на них, как на настоящих участников кампании.

Арсен стал в установленную для приветствия позу, и г-жа Дюфур сочла нужным вмешаться.

— Позвольте, дорогой майор, представить вам бывшего моего служащего... Г. Арсен... Ну, вот, я совсем забыла его фамилию.

Но так как майор удовольствовался улыбкою в сторону хозяйки дома и не спускал взора с ее пышного бюста, привлекившего его внимание, Арсен решил, что можно сесть.

В первый раз видел он Дюфура в обществе офицеров. Тем не менее, он был совершенно спокоен за него.

Разговор, под руководством такого мастера, несомненно будет животрепещущим. Однако, вопреки его ожиданиям, беседа тянулась сначала лениво и пошло.

Г-жа Бартеlemi, приехавшая из какой-то провинциальной глуши, где муж ее служил по счетной части в артиллерийском парке, принялась рассказывать о жене начальника станции, более чем легкомысленное поведение которой забавляло местную хронику.

Как вдруг Дюфур, постучав обеими руками по столу, сказал:—Ну-с, господа?—Арсен вздрогнул.

Сигнал был дан.

К несчастью, все три офицера, вместо того, чтобы, по приглашению хозяина, заняться обсуждением великой темы о войне, завели смертельно скучный разбор очень тогда занимавшего их вопроса о железных дорогах.

Майор де-Лиенн только что закончил доклад в триста

страниц о создании обходных путей в черте укрепленного лагеря.

Так как у него было с собою несколько листов этого доклада, редакция которых послужила уже раз предметом ожесточенного спора между ним и его лейтенантами, он развернул их на столе. И утихшие было дебаты вновь *ipso facto* ¹⁾ разгорелись, так как малейшая поправка вызывала массу замечаний, поддерживаемых неопровержимыми теориями, свидетельством авторов или данными опыта.

В особенности неистощим был де-Лиенн.

У этого человека была, в сущности, только одна страсть: железные дороги. И знал он их, как свои пять пальцев.

Он знал ход всех поездов, их деление по классам, состав, движение, все типы вагонов, все виадуки, мосты и тоннели. Он знал также номера всех паровозов, их силу, их тяжесть, их возраст. Он знал почти точно, сколько угля сжигал каждый из них и какое количество капель масла потребляется такой-то и такой-то частью машины на километр расстояния.

И он не пропускал ни одной подробности.

Только время от времени обращался он к Дюфуру с таким видом, словно спрашивал, согласен ли он, и последний, подавленный этой лавиной технических терминов, всегда спешил согласиться.

Арсен был этим совсем озадачен.

Эта капитуляция Дюфура больше всего огорчила его. Наконец, время казалось ему невероятно долгим.

Ему казалось, что уже много часов прикован он к этому столу.

¹⁾ Благодаря этому самому. Буквально: самим фактом.

«Может быть, скоро настанет и рассвет», думал он, борясь с сонливостью.

И вот, когда он размышлял таким образом, горничная, отворив дверь, ввела в столовую Патийона.

Это привело его в окончательное смущение.

В своем волнении, он просто упустил из виду предупредить своих хозяев, что товарищ его придет к кофе.

К счастью, никто не обратил внимания на вновь пришедшего, никто, за исключением г-жи Дюфур, строго взглянувшей на Арсена и поспешившей заменить стул с хрупкими ножками, на который хотел сесть юный богатырь, другим, более прочным, который она приказала принести из магазина.

Патийон уселся рядом с Арсеном.

Теребя свое кепи огромными руками, он напрягал все свое внимание.

Майор де-Лиенн жонглировал в это время паровозами, станциями, поездами, поездами большой скорости, малой скорости, товарными, безумно гнавшимися один за другим.

И так как противники его казались совершенно разбитыми, он принял скоро развязный, почти шуточный тон и каждое свое замечание сопровождал неестественным смехом, походившим столько же на смех, сколько на чихание и ровно ничего не означавшим.

Патийон, которого повторные возлияния и отчаянные усилия что-либо понять сделали еще более красным, чем обыкновенно, таращил глаза с совершенно одурелым видом.

Что касается Арсена, то он находил очень странным молчание, на которое обрек себя Дюфур.

Это непонятное молчание тем более корбило его, что он столько раз хвалил Патийону ораторский талант своего бывшего хозяина.

Но майор имел неосторожность заговорить о железных дорогах на русском фронте. Дюфур воспользовался этим и воскликнул:

— Если Россия пошлет только половину наличных сил, которыми она еще располагает, она станет могилой тевтонских надежд.

Де-Лиенн мгновение колебался. Казалось, что он колеблется между железными дорогами и мировой политикой.

Но Дюфур вернулся к этому вопросу, и мировая политика перевесила.

Тогда Арсен толкнул локтем Патийона, веки которого уже начинали отяжелеть.

Дюфур был пущен в ход!

Теперь ничего уже нельзя было с ним поделать.

Как великан, бросающий деревья в костер, бросил он в огонь своего красноречия целый лес идей.

Теперь говорили только о войне, о войне во всем ее объеме, об ее причинах, об ее сущности и неисчислимых последствиях, о войне множественной и мировой!

И Дюфур вызвал в перемежку дух каждой нации: он говорил о французском порыве, о славянском мистицизме и британском хладнокровии; о невесомых силах, о победоносной эпохе Наполеона, о генерале Зиме и его адъютанте Голоде, о четверти часа Ноги, о неотъемлемом праве, о свободе морей и о свободе, озаряющей мир, о Жоффре и Галлиени, о Вашингтоне, Риме, Ганнибале, Карфагене...

Арсен, который лично чувствовал себя униженным слишком продолжительной сдержанностью Дюфура, торжествовал теперь вместе с ним.

Он уже не жалел больше о вечере.

Патийон, напротив, казалось, совершенно растерялся. Давно уже не старался он следить за речью.

И, опершись локтем о колено, он положил щеку на ладонь...

— Ну, а вы, господа, чем занимаетесь в своих окопах?

Этот простой вопрос предложила жена лейтенанта Бартелеми. Он совершенно естественно прозвучал в молчании, последовавшем за великолепным парением Дюфура.

Арсен и Патийон, к которым он был обращен, переглянулись в смущении.

Что, в самом деле, могли они сообщить после только что выслушанных великолепных рассказов?

Какой интерес мог представить их уголок в окопе в сравнении с вызванными грандиозными картинами?

— О, знаете ли,—ответил Патийон,—там всегда неразбери-бери, как говорится...

— Однако же,—не без задней мысли настаивала г-жа Дюфур,—если правда все, что пишут газеты...

— Я, на вашем месте, оставил бы этих молодых людей в покое,—вмешался Эскартфиг.

— Я того же мнения, что и ваш зять,—в свою очередь сказал майор де-Льенн.

— А почему вы хотите, чтобы я оставила их в покое? Им вовсе не неприятно, если немного поговорят о них... Не правда ли, друзья мои?

— Нисколько, нам это нисколько не неприятно.

— Вот, видите... ну, что же, говорите... мы вас слушаем.

— Ладно, ну, вот,—начал Патийон, которому не хотелось заставлять просить себя.—Многие говорят, что солдат несчастен, что он страдает и все такое... В сущности, видите ли, чорт не так страшен, как его малюют. Вначале, конечно, ведь правда, Арсен... Чорт возьми... вначале, вы понимаете, вначале мы немного

еще не пришли в себя, мы только устраивались... мы даже не умели окопов рыть.

Патийон заметил, что женщины с сочувствием, улыбаясь, смотрят на него. И он старался быть смешным.

— Да, ну, вот,—продолжал он,—мы рыли тогда что-то в роде окопов, канавы, можно сказать. И так как для всех не хватало лопат и заступов, то копали землю штыком. Затем мы там ложились, а голову прикрывали ветками, которые приносили туда. Ну, а теперь... о, теперь у нас крыши и хорошая солома, совсем, как у скотины, на земледельческой выставке...

— Только,—прибавил Арсен,—иногда солома промокает от воды.

— Ну, конечно, бывают незадачи. Но у кого их нет? Меня, видите ли, больше всего изводят там ноги... А тебя, Арсен?

Матильда хихикнула, и, как эхо, прозвучал более резкий смешок г-жи Бартелеми.

— Вот постойте,—приободрившись, продолжал он,—нынешней зимой бывали дни, что я снимал сапожищи и брал ноги в руки, чтобы согреть их. А раз я и переобуться не мог, так распухли они у меня. Помнишь, Арсен, а? Мы ушли на отдых, и пришлось мне ковылять по снегу на своих бедных лапах, обмотанных тряпками.

— Если бы только это,—неопределенно заметил Эскартфиг.

Патийон почтительно замолчал, как бы уступая слово ему.

Но Эскартфиг не воспользовался этим приглашением.

— Конечно, есть и другое,—продолжал тогда Патийон.—Но, в сущности, это да и все другое, скажем, скорее смешно... Если бы я захотел, я мог бы заставить вас чуточку посмеяться, даже больше, чем, скажем, если бы

вы пошли в театр слушать какую-нибудь штуку... По-слушай, Арсен... например, с бутылками...

— Бутылки?—спросила г-жа Дюфур.

— Да, бутылки—это бомбы. Это мы их так про-звали. Летят они совсем спокойно, не скорее, чем бу-лыжник, и падают они всюду, где только могут.

— И разрываются.—прибавил Арсен.

— Тогда мы, понимаете ли, мы все смотрим в воз-дух. И когда одна спускается, скажем, кричат: «Бере-гись, ребята, беги налево!» А в то же время другая падает в другом конце окопа, и ребята оттуда бегут направо... Так что стукались друг о друга, па-дали на землю, можно было лопнуть со смеху... А ша-лаш из листьев?... Но не знаю, могу ли я рассказать вам про это?

— Гм.... Гм...—пробормотал майор де-Лиенн.

— Ей-богу, не знаю.

— Пожалуйста, пожалуйста,—настаивали дамы.

— Недавно я прочла книгу, под заглавием «Записки бородача»,—сказала Матильда—это тоже было очень занимательно. Там был, между прочим, некто Ласкар, и у него была своя особая манера приводить бошей, привлекая их внимание колбасой...

— Расскажите нам лучше о шалаше, это должно быть очень мило,—настаивала г-жа Бартеlemi.

— Наш шалаш,—решился, наконец, Патийон,—был скрыт в маленькой рожице. Иногда, по дороге туда споткнешься о труп; но все-таки шли туда за своей нуждою. Только вот, пришел октябрь месяц, листья об-летели, так что боши сверху, скажем, могли стрелять по нас. И как-то раз парню одному угодила пуля в самое мясистое место. Вы понимаете, конечно, когда я говорю—в мясистое место, я хочу сказать—прямо в луну.

Тогда мы сказали себе, что и для большого дела лучше не высовывать носа из траншей, только брать каждый раз лопату и отправлять товар этот ребятам, что на-против нас.

Рассказ этот, впрочем, имел меньше успеха, чем предыдущие. Смех женщин, которые только к концу разобрали, в чем дело, умолк. Г-жа Дюфур поджала губы.

Патийон был несколько смущен этим.

— А пища, мой друг?—своим важным голосом спро-сил майор де-Лиенн, желая отвлечь внимание на что-нибудь другое.—Я думаю, вам не было повода жало-ваться на пищу.

— Нет, г. майор,—ответил Арсен, озабоченный глав-ным образом тем, чтобы не дать слова своему това-рищу.—Доставка питания в окопы отлично налажена. Только во время бомбардировки она производится несколько неправильно.

— Тогда,—снова заговорил Патийон,—кашеварам при-ходится пробираться к нам ползком, и когда вокруг слишком уж кипит, они кидают нам шагов за пятнадцать куски мяса, которые мы налету и подхватываем...

— В эти дни, правда, нам приходится довольство-ваться пищею только один раз...

— При чем мы едим мясо пальцами и не боимся, что обожжемся, можете мне поверить, потому что все холодное и застывши. Бывает еще незадача: то снаряд приправит тебе рагу доброй порцией земли или отпра-вит всю порцию в грязь, да и тебя самого в придачу.

— Заметьте, г. майор, что такие периоды сравни-тельно редки,—счел своим долгом прибавить Арсен.

— Наконец, вот что,—снова заговорил Патийон,—привыкнешь ко всему этому. Это словно другая жизнь,

которую господь посылает нам. И все принимают ее и делают по мере сил, что могут... Вот, только ноги... Это — мое почтение!

— Позволь тебе заметить, что ты говорил уже об этом, — перебил Арсен.

— Но об этом стоит еще поговорить, старина... Ты тоже хорош был тогда... Вспомни-ка март месяц, когда ноги у тебя сделались лиловыми, что я говорю: лиловыми, прямо-таки черными от того, что мы в этом болоте все бродили. Вспомни мазь доктора и сало, которое получал от своей матери Жанвуан. Как ты радовался, когда мог потереть им свои лапы.

На этот раз это вызвало всеобщую веселость.

И так как веселость продолжалась слишком долго, Арсен почувствовал себя униженным.

— Это было тогда, когда мы семнадцать суток провели без смены, — вырвалось у него.

— Когда раненые, по живот в грязи, цеплялись за бруствер, и в промежутке времени между двумя минами мы котелками и флягами вычерпывали из окопа воду.

— Это в самом деле ужасно, — сказала г-жа Бартеми.

Это сожаление растрогало его.

И во внезапно наступившей тишине, он, черточка за черточкой, изобразил в выражениях, которые вовсе не имели в виду забавлять, их покорное существование жертв под напором стихий; он говорил о струившейся всюду воде, о грязи, которая грызла их, о вечном ветре, который в конце концов усыплял самые печальные мысли.

Он вызвал перед ними все, вплоть до самых скромных вещей; он рассказал им об огне, который так трудно зажечь и который потухает под дождем, оста-

вив только немного дыма, о клочках газет, которые они разглаживали руками и которые напоминали им, что у них где-то там есть еще родина.

Он рассказал им об этих днях, похожих один на другой, как один бедняк похож на другого; о длинных беседах, полных тоски по родине, о сумках, успокаивающих своим кротким светом.

Он рассказал также о бесконечном стоянии на часах, где чувствуешь себя совершенно одиноким в кольце ужаса, о морозных ночах, когда тела жмутся друг к другу, о тяжелой работе под снарядами и, сверх всего этого, об отчаянной пустоте целых часов, когда ум не знает, над чем призадуматься, и когда внимание развлекается любым пустяком: плывущей по небу тучею, полетом вороны, чертящей на небе полосу...

Он остановился, удивленный, что наговорил столько.

Остальные все еще молчали.

Г-жа Дюфур машинально перебирала складки своего шелкового платья.

Нахмурив брови, Эскартфиг смотрел, как подымались и опускались золотые пузырьки, приведенные им в движение в бутылке Мари Бризар, из которой он налил себе рюмочку.

Даже сам Патийон сидел с серьезным видом.

И все почувствовали как бы облегчение, когда Дюфур прервал молчание.

— Пока вы говорили, — обратился он к Арсену, — пока вы так трогательно обрисовывали нам мученичество наших солдат в траншеях, мысль моя неудержимо перенеслась к тем чудесным дням нашей мобилизации, когда мы все чувствовали себя приподнятыми волной энтузиазма. Вспомните этот отъезд! Вся страна рвалась в атаку. Нетерпение боя горело во всех глазах. Даже лошади ржали... Но, увы, война обманула ожидания

страны... Вашим долгом стало молча страдать, с ружьем в руках, и просить о новых страданиях, в стоической неподвижности!.. Но не думайте, однако, что если жест ваш не так блестящ, Отечество менее обязано вам. Пусть вас заставили спрятать плюмаж в карман, вы, все же, не менее утки!

— Что до этого, м-сье Дюфур,— перебил Патийон,— то я могу сказать вам, что каждый бодрится, сколько может.

— Нисколько не сомневаюсь в этом, мой друг. И вследствие этой уверенности вера моя в победу остается непоколебимой. Чего хотят от нас? Пострадать четвертью часа больше, чем другие, не правда ли? Мы справимся с этим.

В эту минуту горничная принесла сидронад, и комната снова наполнилась жужжанием болтовни.

Дюфур рассказывал теперь майору де-Лиенну, что недавно он слышал м-ль Шеналь, которая пела на благотворительном вечере марсельезу, и в первый раз в жизни он так растрогался. Лейтенанты беседовали о пропорциональном продовольственном пайке, который, по слухам, им удастся получать в Париже. Матильда и г-жа Бартеlemi, вертя в руках отделку своих платьев, обменивались адресами портних.

Между тем время шло.

Майор де-Лиенн взглянул на часы. Но когда он предложил своим друзьям проститься с хозяевами, в углу комнаты раздавалось могучее храпение.

Патийон просто-напросто заснул, откинув голову на спинку стула.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Арсен проснулся первый.

Из голубятни, в которой жил его друг Дюрё, открывалась панорама всего Парижа.

Чудесное утро сверкало над городом.

Опираясь локтями о борт жолоба, он видел, как последний туман таял в огне солнца, поднимающегося из-за горизонта.

И при виде этого сияющего зрелища в душе его зашевелилась надежда.

Мысль его обратилась к Мари, которую он видел вчера только мельком, и ему захотелось поскорее увидеть ее снова.

Ему казалось, будто раздирается завеса.

И за этой завесой лицо его кроткой подруги улыбалось ему в этом девственном воздухе, повсюду, куда бы он ни взглянул.

— Патийон!— крикнул он, торопясь поделиться с ним своею радостью.

Но Патийон, сбросив одеяло, спал сном ребенка, совершенно голый.

Освещавший его луч солнца сверкал на его коже и загорался в его рыжих волосах, и Арсен невольно любовался великолепным телом этого крестьянина,

спавшего на своей постели, словно молодой лев, отдыхающий в своей мощи.

Славный Патийон! Простое и великое сердце!

Искренний порыв, с которым тот предложил Арсену свою дружбу, умилял его, как и в первый день. И Арсену больно было подумать, что человек этот, любивший его, как брат любит брата, покинет его на всю жизнь, когда прекратится война.

Чтобы не разбудить его, он на цыпочках вернулся к своему месту у окна.

И там предался размышлениям.

К большому удивлению своему он почувствовал, что немного смешное разочарование, приготовленное ему семьею Дюфур, оставило его равнодушным.

В самом деле: он чувствовал только нетерпение увидеть Мари.

Часто там, в траншее, когда он мечтал о Матильде, образ скромной девушки сменял собою образ его невесты.

И теперь к ней стремились все его мысли.

Но чья-то рука тихо легла ему на плечо.

Патийон, набросив шинель, стоял около него.

— Представляю тебе Париж,—с оттенком гордости в голосе сказал Арсен.

— Париж!—повторил Патийон.—Это все-таки, чорт возьми, местечко! А?.. А вот Эйфелева башня... Чорт возьми, вот так свечка... А Большое Колесо... но оно не вертится, твоё колесо... Может быть, потому, что тихо, ветра нет?.. А вот там, совсем близехонько, дворец этот... Наверно, Елисейский.

— Нет, это Дюфайель ¹⁾.

— Эйфелева башня, Большое Колесо, Дюфайель,—почтительно перечислял он.—Это как раз все то, что мне так хотелось видеть.

Эти три сооружения, славу о которых объявления и почтовые карточки донесли до его деревенской глуши, обобщали для него весь Париж.

Арсен с любопытством следил за впечатлениями, последовательно отражавшимися на этом, не умевшем ничего скрывать, лице.

— И подумать только, что без нас,—вдруг с глубокой серьезностью заговорил Патийон,—здесь все было бы точно так же, как там, где крыши сравнивали с землей... Особенно без нас, крестьян,—тише прибавил он.

— В этом я согласен с тобой,—сказал Арсен.

— Вот над такими вещами, видишь ли, подумает себе голову, тут подумает.

— О чем подумает?

— Надо мне сперва суметь объяснить тебе. Часто у меня в голове и то, и другое, самому себе и без слов могу сказать, а другим—шалишь!

— Постарайся все-таки. Ты ведь знаешь, старина, я не тороплю тебя...

— Ладно... Ну, так вот... Когда я смотрю на Париж, мне вспоминаются мои мечты... Да... у меня были мечты... иногда там, на родине, когда я один в поле опирался на свой плуг.

— Что же ты говорил себе тогда там?

— Я говорил себе, что места, вот, как это, с их весельем, их умом, их яркими ночами и со всем остальным, это все не для нас, земледелов. Я говорил себе, что мы только и годимся для того, чтобы жить со скотиною, потому что мы молчим, как она, потому что целыми днями только и слышишь, как лемех твой стучается о камни... Понимаешь меня, а?

¹⁾ Торговый дом на Монмартре, здание которого увенчано куполом.

— Да, понимаю.

— Я говорил себе все это... А потом, вот видишь, когда пришлось защищать этот Париж, который для других, для их забав, Париж, который мы своим трудом кормим... мы все-таки с ружьем стали в первые ряды!.. Вот каковы мы, крестьяне!

Он совершенно просто сказал это.

Потом повесил себе торбу на шею, вытащил оттуда хлеб, свиное сало, кусок бри и полбутылки красного вина и, стоя, на солнышке, принялся есть, вытирая время от времени о хлеб свой большой, с роговой ручкой, нож, который он раз как-то пустил в ход в немецком окопе.

— А где же, среди этой путаницы, скобяная торговля?—спросил он, поевши.— Если бы это было в деревне, я бы разыскал... Но здесь я не скажу тебе даже, где север.

Одеваясь, Арсен напевал.

— Ты поешь, Арсен,—сказал он ему.— Тем лучше для тебя, особенно после того, что случилось вчера.

— Да, пою, пою, словно сегодня воскресенье.

— И красоту еще наводишь. Посмотрите-ка, кокетничает, как девчонка. А... а, скажи-ка,—внезапно вскричал он,—что, если бы на помадить немного волосы. Есть!.. Я уже сую палец в банку... Уверю тебя, что твой приятель Дюрё будет доволен, что мы взяли у него помады.

— Да, да, он будет доволен... но торопись, ради бога... меня ждут, понимаешь, Патийон, меня ждут!

* * *

Войдя в лавочку, Арсен увидел Мари, разговаривающую со старой дамой, которая только что купила керосиновую жаровню.

— Вы... м-сье Арсен... Вы!..—пробормотала она.

Вначале казалось, что при виде его она испытала лишь легкий испуг.

Она стояла перед ним неподвижно, с остановившимися зрачками и слегка дрожащими губами.

Затем безумная радость овладела ею, и краска залила ее лицо.

Она до такой степени забыла о своей покупательнице, что та, в нетерпении, должна была вырвать у нее из рук жаровню, которую она бессознательно продолжала прижимать к груди.

— Можете не заворачивать,—сказала покупательница.— Это отняло бы у вас слишком много времени. Вот вам пятьдесят франков...

Мари побежала к конторке.

Но когда надо было дать сдачу, она спуталась и несколько раз принималась считать.

— Ну, вот, я разучилась считать,—смеясь, чтобы скрыть волнение, сказала она.

— Бросьте это,—вмешался Арсен. Он взял несколько серебряных монет из кассы и стал отсчитывать их, позвякивая о медную доску...—Тридцать восемь и два сорок,—считал он,—и четыре сорок четыре, и шесть—пятьдесят.

Мари, поблагодарив старую даму, проводила ее до двери с такими излияниями, словно продажа этой скромной утвари обеспечивала ее до гробовой доски.

Мысль о том, что сейчас она останется с глазу на глаз с Арсеном, еще увеличивала ее смущение.

— Ну, что же, Мари, разве мы не поцелуемся?—спросил он.

Он взял ее за руки.

Повинуясь одному и тому же движению, они обменялись таким неловким поцелуем, что носы их столкнулись, а губы еле-еле прикоснулись друг к другу.

И так как он удержал ее руки в своих, она принялась разглядывать его с любопытством матери, после долгого отсутствия увидевшей сына и старающейся дать себе отчет в впечатлении.

— Меня уверяют, что я совершенно не изменился... Правда это, Мари?

— Я не посмею утверждать это, особенно потому, что я хорошо помню, каким вы были раньше... И потом, разве могут не меняться люди, которые ведут эту жизнь там... сказать им что-либо подобное—значит соврать им и даже огорчить их.

— Вы правы... нам больше нравится, когда говорят вот так, как вы сейчас говорите.

— О, я ни в чем не упрекаю тех, кто сделал вам это замечание... Они сказали вам то, что думали... Только они рассеянно взглянули на вас, как смотрят на прохожего... или они не потрудились вспомнить, какой вы были раньше... Да, вы немножко похудели... Впрочем, в этом нет ничего удивительного... этого даже скорее можно было ожидать от вас, чем от кого-нибудь другого, потому что...

Она не окончила своей мысли.

— Что вы хотели сказать? Говорите. Не бойтесь быть откровенной.

— Я просто подумала о вашем чувствительном, впечатлительном сердце... Помните, когда эта женщина была раздавлена перед магазином... а вы боялись взглянуть на всю эту кровь... Я часто вспоминала этот случай и при этом всегда говорила себе, что вам нужно больше мужества, чем другому.

— Это правда, Мари.

— Я уверена, что вы вели себя, как самый храбрый солдат. И все-таки вы в этом аду, вы—такой добрый, такой кроткий!

— О, знаете, совсем не нужно быть злым или жестоким, чтобы хорошо воевать...

— Послушайте, вечером, случилось, я облокачивалась об окошко в своей комнатке на шестом этаже и часами сидела полуодетая, прислушиваясь к гулу канонады... И тогда старалась вообразить себе сражение с его пламенем, дымом, бегущими солдатами, ранеными, мертвыми. Но этого нельзя себе представить, правда, м-сье Арсен.

— Нет, нельзя.

— А я, между тем, по-своему видела это, и вас видела там. Вы простите меня, правда? Что же делать! У меня никого нет там, ни брата, ни друга... И так как нужно же кого-нибудь себе представить, то я мысленно и видела вас всегда, всегда!..

— Я знал еще прежде, чем зашел сюда, что вы мне скажете что-нибудь подобное, и заранее уже радовался. Но почему у меня была эта уверенность, Мари, уверенность, что вы будете говорить мне это или почти это?

— Мне сказали, что вы приехали в Париж с одним из ваших товарищей,—сказала она, чтобы избежать прямого ответа.

— Да. Это хороший малый, по фамилии Патийон, простой крестьянин, но вместе с тем мой лучший друг. Я оставил его в сквере Сен-Пьер, где посоветовал ему ждать меня, не сходя с места.

— Почему вы не привели его сюда?

— Потому что я хотел в первый раз увидеться с вами с глазу на глаз, так как мы многое должны сказать друг другу.

На этот раз она покраснела от удовольствия до шеи. Опустила голову и не решалась ничего ответить.

И гордость прокралась в сердце Арсена, когда он увидел, что она покраснела.

Они позавтракали вдвоем, в комнатке за лавочкою.

Таким образом они могли думать, что прошлое продолжается, словно за это время ничего не случилось.

Казалось, что разлука больше укрепила их дружбу, чем долгие дни, прожитые некогда бок о бок.

Она, не переставая, расспрашивала его. И не раз он видел, как слеза катилась по ее все-таки радостному лицу.

День прошел таким образом очень быстро.

— Дюфуры, вероятно, сказали вам, что они проведут сегодняшний день на своей новой даче, в Коломбе.

— Да, на даче, которую они называли «До Конца».

— Ну, так я думаю, что мы можем пораньше закрыть магазин и пойти к вашему товарищу, который, пожалуй, еще корни пустит там, в сквере.

— Я только что хотел предложить вам это.

Арсен непременно хотел сам все убрать в магазине.

И пока он с тою же тщательностью, что и раньше, занимался своим делом, Мари быстро поправила прическу перед зеркалом, в котором одновременно отражались ее изображение и изображение дорогого, вернувшегося друга.

* * *

Патийон сидел у подножия дерева и, не обращая больше внимания на зевак, так же спокойно, как если бы он находился на краю своего поля, грыз хлеб.

— Вот наш мужичок, — вместо всякого представления сказал Арсен.

Мари протянула ему руку.

— Не в обиду вам будь сказано, мамзель, — с хитрым видом заговорил Патийон, — времечко мне показалось-таки

долгим. Я, скажем, отвык уже оставаться один с тех пор, как нас с ним, словно двух быков, в одно ярмо запрягли.

После всего, что Мари узнала об этом славном малом, о его дружбе к Арсену, которую он много раз доказал самым трогательным образом, она почувствовала к нему неодолимую симпатию.

И Патийон смутно понял, что и она, и он одной и той же породы, из той простодушной глубины нации, где люди сходятся быстрее.

А когда он узнал, что она родом из Жюньи, дело пошло уже совсем гладко.

— Из Жюньи! — вскричал Патийон. — Но если я прохнусь с петухами и пойду наперерез через Орметский лес, то к завтраку могу поспеть в Жюньи, даже если бы гнал пару гусей перед собою.

— Да, конечно, — сказала Мари.

— Раз вы оттуда, то расскажите ему, пожалуйста, этому пантрюшару, кое-что о Высоком Сарньяке, о наших виноградниках, о нашей речке, которая так тихо течет под холмом, что, кажется, вот-вот заснет. Это стоит всего здешнего шума и беспорядка.

— Да, это не одно и то же.

— Как подумаю, старина, что вечером, когда я курю у окошка трубку, я слышу, как прачки колотят там внизу белье... и не только слышу каждый удар их валька, но и то, что они там стрекочут между собою... и даже смех ребенка слышу... Там такая тишина, что кажется, будто ты ближе к господу богу... А что, землячка, земляки пишут вам?

— О! Пишут!

— Подождите! Прежде, чем расспрашивать вас, я побегу, принесу бутылку белого вина, которую я, ожидая вас, опустил в воду, чтобы остудить.

Он побежал к бассейну в сквере и вытащил оттуда бутылку, которую он на веревочке опустил в воду.

— Выпейте сначала из моей манерки... А теперь скажите, не знаете ли чего о пруде?

— О пруде?

— Ну, да, о пруде, который прорвал дорогу и залил вереск. Там теперь, должно быть, здоровая грязь вместо красивых розовых цветочков... А колокола? Достал г. кюре серебро для колоколов? Вы знаете, ведь колокол от мороза треснул.

— Нет, я этого не знала.

— Да, от мороза... А отец Бурю,—прибавил он,—старик этот, который с криком бросился раз на колени перед распятием, потому что увидел в небе аэроплан; я очень хотел бы знать, выздоровел ли он?

— Выздоровел от чего?

— Да от своего скверного кашля, чорт возьми, который он схватил, оттого что спал у своих коров, когда которая-нибудь из них телилась... Вы и этого не знаете?

— Нет.

— Значит, вам оттуда никогда не пишут?

— Вы меня извините, г. Патийон,—ответила Мари,—мне было только четырнадцать месяцев, когда я уехала из Жюньи, и с той поры я не возвращалась туда.

— Почему же вы этого раньше не сказали?—немного раздосадованный, спросил он.

— Я видела, что вам так приятно говорить об этом.

— Да, это правда.

— И потом, хотя я и не жила там, все-таки это моя родина. А теперь, благодаря вам, я ее знаю немного.

Наступил вечер.

В пыльном, опустевшем сквере было что-то в роде сумерек.

Был тот час, когда тишина неба спускается на поля, когда стихает ветер и птицы умолкают.

И Патийон, тоже дитя природы, умолк, как и они.

* * *

С обманчивой быстротой следовали дни за днями.

Дюфуры окончательно устроились на своей вилле в Коломбе; Арсен и Патийон пользовались этим и все свои дни проводили в лавочке.

Патийон взял на себя, в конце концов, все грубые работы, что давало двум друзьям возможность всецело посвятить себя друг другу.

Так, утром он отпирал магазин, выставлял товар, подметал канавку, готовил на газовой печке к завтраку рагу, лазил на лестницу, чтобы доставать нужные покупателям крупные вещи, вечером запирал ставни и, чтобы быть занятым и в остальное время, придумал перечистить все краны, висевшие цепью в витрине магазина.

Арсен и он нашли все-таки нужным принять приглашение Дюфуров и побывать у них.

Их пригласили на кофе в Коломб.

В вилле «До Конца» они встретили майора де-Лиенна и депутата от пригорода.

Дюфур был очень горд, представляя ему «этих двух скромных бойцов великой армии, выдвигающей против отравленного потока варварства плотину из своих грудей».

Он, впрочем, не делал, повидимому, уже теперь никакой разницы между тем и другим. Грязь с фронта сравняла их в его глазах.

Прикаса к тому, что Арсен и Патийон рассказали ему в первый вечер после их приезда, он описал их герои-

ческую жизнь в безвестном окопе и великолепно воспел их славное мученичество.

Затем, очень довольный этим публичным восхвалением, носившим такой простой, демократический характер, он пригласил всех пройти в сад, куда подали кофе и ликеры.

Г-жа Дюфур повернула к фасаду кресла из индийского тростника, только сегодня доставленные из магазина «Хозяйка».

Вилла эта была отделана с кричащей роскошью, где совершенно неожиданно перемешивались нормандский и готический стили, приморский шале и средневековый замок; сбоку возвышалась укрепленная башня из железобетона, вся ошетиненная зубцами и грозными бойницами и видная отовсюду в Коломбе.

Сад, по величине вполне соответствовавший положению владельцев, являл такую же пышную декорацию, как и жилище. Тут были нагромождены гроты и скалы из папье-маше, миниатюрные пропасти и туфовые мостики, под которыми извивалась пена анемичного ручейка, вытекавшего из городских резервуаров.

В этом кукольном садике, где не хватало только немножко зелени, приходилось группироваться вокруг стола-зонтика для того, чтобы укрыться от солнца.

В этой-то тени усадила г-жа Дюфур своих гостей, распроложив перед собою на виду у всех огромные клубки шерсти, которые она превращала в носки и вязаное белье для тех, кого муж ее называл «нашими доблестными защитниками».

В виду присутствия депутата разговор носил исключительно экономический характер; но это, казалось, нисколько не затрудняло Дюфура.

В этот день он даже рассуждал о войне с хладнокровием какого-нибудь Гладстона или Ллойд-Джорджа.

Развивая свои идеи, он руководился только холодной, неумолимой логикой.

— Конечно, — говорил он, — не в том дело, чтобы отречься от наших наследственных качеств, от нашего пыла, нашего воодушевления, но мы должны признать, что война не только индустриализировалась, она приобрела еще характер коммерческий и земледельческий. Недостаточно теперь стрелять из ружей или выстраивать в одну линию пушки большого калибра. Нам нужно всего в неограниченном количестве. Тот, у кого не хватит жира, очутится, может быть, в худшем положении, чем тот, у кого не хватит пороха. В этой беспощадной борьбе, повторяю это, долг каждого француза заключается в том, чтобы спрятать свой плюмаж в карман и прислушаться к великому голосу опыта. Бошу противопоставить полуторых бошей! Англичане, те поняли это с первого же дня!

Впрочем, с некоторых пор он любил находить в себе сходство с ними; быть может, поводом к этому служило его предприятие с волнистым железом, мстившее за его прежние поражения и прибавлявшее к его лаврам патриота еще солидную репутацию делового человека.

Депутат, бывший впервые в гостях на вилле «До Конца», слушал его с некоторым изумлением и чувствовал себя униженным превосходством этого неистощимого оратора.

Что касается Арсена, то эта прекрасная и спокойная эволюция, эта умудренность, это добровольное уродование великолепного темперамента еще выше подняли Дюфура в его глазах.

Когда пробило четыре, в сад влетел, склоняясь на руль велосипеда, во всю быстроту педалей бой-скаут лет десяти; соскочив на ходу, он подал Дюфуру вечернюю газету.

Дюфур встал.

— Правительственное сообщение,—заявил он.

Он прочел:

— «К северу от Эны, перемежающаяся деятельность обеих артиллерий. На остальном фронте ничего существенного».

И когда он снова сел, Арсен почувствовал себя неловко, так как ему показалось, что взгляд его бывшего хозяина, остановившийся на нем после чтения, выразил известную строгость.

Но Дюфур тотчас же перешел к другому.

— Сейчас я проэкзаменирую в вашем присутствии моего ученика,—сказал он, положив руку на голову мальчика, привезшего ему газету.—Ну-ка, комар, прочти нам свои заповеди, но с должной интонацией.

И маленький велосипедист, одетый в платье цвета хаки, принялся декламировать фальцетом заповеди бойскаутов, при чем голос его потрясал вашу барабанную перепонку, а огромный Патийон слушал его, разинув рот.

После этой декламации оба наших «бородача», выпив последнюю рюмочку коньяку, получили от хозяев разрешение удалиться, при чем Дюфур, без ведома жены, всунул Арсену в руку билет в сто франков для него и для его друга, попросив их при этом приготовить им там хорошенькие правительственные сообщения.

* * *

Арсен и Патийон не покидали больше скобяной лавки.

Проведя столько дней под небесным сводом, в пыли или в грязи, на ветру и на холоду, они с чувством наслаждения предавались отдыху среди этих стен.

Счастье, испытываемое Арсеном, удивляло немного даже его самого.

Общество Мари стало его потребностью. Он не мог удалиться от нее. Он нежился в своей привязанности, как птичка нежится в тепле своего гнездышка.

И Патийон был счастлив, видя, что они счастливы.

Так настал последний день их отпуска.

Очистив комнату Дюрьё от вещей, которые они там расположили, они оба раньше обыкновенного явились в скобяную лавку.

Это было воскресенье, посвященное раненым на войне.

Поезд их уходил только поздно ночью.

Небо было чистое, бледно-голубое. Весь Париж был на улице. У них, благодаря Дюфуру, было в кармане целое состояние.

И они решили провести день по-королевски.

После завтрака, который они запили бутылкой шампанского, они пошли по городу наугад.

Они шли, смешавшись со смирной толпой, которая, казалось, жила только в ожидании счастливого будущего.

Арсен предложил Мари свою руку.

В течение этих благословенных дней между ними незаметно установилось сознание очень нежного и очень серьезного согласия.

Они еще ни слова не сказали друг другу об этом чувстве, но знали, что близкое прощание вызовет это признание. И предвидение этого увеличивало их смущение.

Они шли молча, потому что слова стали излишними и еще потому, что в воздухе была разлита большая нежность.

Мари опиралась на руку Арсена.

Она опиралась на него, как опирается женщина на руку человека, избранного ею на всю жизнь.

Арсен это чувствовал. И все, исходившее от нее: прикосновение ее руки, легкая ласка ее волос о его щеку, ее стесненное дыхание—все это наполняло его незнакомым раньше блаженством.

Было воскресенье.

Солнце сверкало одинаково для всех.

Оно сверкало для парочек, подобных им, которые в нетерпении всегда стремятся все к большему счастью; оно сверкало для раненых, поднимавших свои бедные, измученные лица к божественному светилу, сверкало для полных надежд выздоравливающих, для играющих детей и задумчивых стариков, а также для всех тех, кого измучила жизнь, но кто все-таки молит об ее благодеяниях.

Из скромности, славный Патийон шел довольно далеко впереди них. Он настоял на том, что навьючил на себя весь хлам Арсена, так что, обвешенный со всех сторон битком набитыми торбами, манерками и бидонами, он напоминал призовую мачту, которую воздвигали во время гуляний на площади в его деревне. Время от времени он оборачивал к ним голову, как добрая собака, идущая впереди своих хозяев.

Но Арсен и Мари, увлеченные своей мечтой, шли, не замечая его.

Они шли, наклонившись друг к другу, касаясь один другого висками, и пальцы их переплелись.

И только что зародившаяся любовь тихо вела их за собой.

Это было в воскресенье.

Побродив таким образом по городу, под его аркадами и под деревьями его аллей, они направились к ресторану на больших бульварах.

Из-за большого стечения публики им пришлось ждать среди группы посетителей на пороге блистающей позо-

лотою залы, где зеркала до бесконечности повторяли свет люстр и где стоял горячий запах кухни.

Управляющий, утиравший лицо салфеткой, мог, наконец, поместить их у окна, откуда видна была уличная суета. На скатерти лежал, среди остатков обеда, забытый женщиной пучок роз, увядший от жары.

Когда Арсен и Мари сели за стол, в них сказалась усталость, накопившаяся во время продолжительной прогулки.

Так что они взвалили на Патийона труд поддерживать беседу.

Увлеченный настроением, он не замедлил подать реплику сидевшей поблизости группе отпускных, которые готовились, как и они, к суровому пути на фронт и были, тем не менее, бесконечно веселее штатских.

Арсен не спускал глаз с Мари.

Она сделалась его собственностью.

Мари краснела под настойчивостью этого взгляда, в котором можно было прочесть гордость господина. В другие минуты она дрожала, охваченная счастьем.

И смущение ее было настолько явно, что Патийон, сильно заинтригованный, непременно хотел знать, отчего она так дрожит.

— Послушай, ты, толстая куча!—вскричал внезапно какой-то «бородач».

— Ты мне говоришь?—спросил Патийон.

— Ты 103-го полка?

— Разве ты не видишь по воротнику?

— Значит, мы с тобой соседи там?

— Может быть, но я нахожу, что лучше здесь соседями быть, а?

— В особенности, когда нам готовят там хорошенькую атаку. Говорят, за последние три дня на наш

сектор упало больше котлов, чем их теперь прогуливается по всему Панаму!

— Так и нужно... Знаешь, когда лошадь слишком долго стоит в конюшне, она превращается в свинью. Только и годна на то, чтобы тянуть детскую колясочку.

— Вот! Этот урод находит, что мы слишком разжирели. Ты слышал?

— Конечно, нахожу,—заревел Патийон.—Взгляни в зеркало, и ты увидишь, чего в тебе больше: сала или мяса!

И повернувшись к Мари в надежде подметить у нее улыбку в ответ на эти остроты, он заметил, что она вдруг стала белой, как салфетка.

— Это вы из-за того, что сейчас сказали об этой атаке? Да нет же, мамзель, не стоит расстраиваться из-за этого... Ну, возможно, после всего, они получают сало, ну, а шкуру—не-ет, она слишком дорога! Полно!.. Полно!..

Но все его старания, увы! оставались бессильны.

Огромное беспокойство овладело Мари. Она даже не слышала того, что он говорил.

— Господи боже,—в отчаянии говорил Патийон,—все это из-за меня. Ну, и наболтал же я своим языком!

Но когда было уплачено за обед, он остановился перед большой афишей, приклеенной на зеркальной стене в глубине зала.

Афиша эта расхваливала посетителям ресторана безумное веселье, которое должно было быть в обозрении, под заглавием: «Мы их поймали».

— Видите, мамзель, не стоит себе кровь портить, потому что их поймали, потому что так написано... Их поймали!

Мари улыбнулась сквозь слезы.

— И я вас поймал!—торжествовал Патийон.—Я знал, что рассмешу вас... Пойдемте, мы еще ничего не потяряли... И потом вот... я придумал вот что... Пойдемте-ка, посмотрим это... Почитайте-ка... что тут написано... «Сенсационный спектакль. Блестящая постановка. Чудесная процессия Прелестниц». Пойдемте, Патийон ведет вас на свой счет... Стянем крепче ремни, и вперед!

И Мари позволила увлечь себя к театру, одному из лучших в этих местах.

В длинном, узком зале, освещенном бледным светом двух вольтовых дуг, теснились фабричные рабочие, простоволосые женщины и солдаты в шинелях, еще забрызганных грязью.

Когда поднялся занавес, на сцене была торжественная депутация певичек в трико на которых видны были грубые швы.

В первый раз увидел Патийон театральный зал.

Это произвело на него такое впечатление, что он и не подумал сесть.

Но поднялись протесты, и он сел в свое кресло, оперся обоими локтями о свои торбы и с первой же сцены покатился со смеху.

Незатейливые шутки, скабрезные намеки, сальности в мимике или в диалоге производили сильное впечатление на эту девственную натуру. Смех его звучал так громко, что заинтересовавшиеся актеры искали его глазами по ту сторону рампы.

После каждого припадка веселости он вытаскивал зубами пробку из бутылки белого вина и протягивал свою наполненную до краев манерку всем своим соседям и настаивал, принимая каждый отказ за личное оскорбление.

Потом он довольно неожиданно заснул.

Арсен и Мари старались не разбудить его. Они только отняли у него бутылку, которую он продолжал сжимать в руках, и положили ему под голову торбы, передвинув их на спинку его кресла; и лишь когда он грозил захрапеть, легонько встряхивали его.

Переменяли декорации.

Сцена, представлявшая модный пляж, превратилась в передовой окоп; недавние купальщицы превратились в солдат-бородачей и занялись сложнейшим фехтованием на штыках, перемешивая его танцевальными па и антраша и следя за тем, какое впечатление производит на публику эта военная хореография.

Потом рожок протрубил сигнал к тревоге, и Патийон проснулся.

— Не стоит искать ружье, — смеясь, сказал ему Арсен.

Рожок этот разбудил его, впрочем, очень кстати, потому что после победной атаки певичек, бросившихся в кулисы под звуки боевого марша, исполненного оркестром из десяти музыкантов, заднее полотно, на котором летали аэропланы и рвались снаряды, взвилось кверху над апофеозом.

Полная женщина, символизировавшая цивилизацию, в пурпуровой мантии, подбитой горностаем из кроличьего меха и, казалось, похищенной у какой-нибудь ярмарочной великанши, простирала в ослепительном свете электрического прожектора две пальмовые ветви над головами союзных наций.

Патийон, не переставая, толкал Арсена локтем.

Буквально ослепленный блеском пальеток, диадем, кабошенов и всей мишурой декораций, он усиленно моргал глазами.

И когда занавес медленно опускался, закрывая золотой дождь, озаряемый бенгальским огнем, он принялся

с такой яростью и с такой настойчивостью хлопать в ладоши в почти опустевшем зале, что контролер счел своим долгом умерить его восторг, очень осторожно, конечно, принимая во внимание сюжет.

Они вышли.

Славный малый, все еще видевший перед собой ослепительность последней картины, не умолкал. Спектакль этот привел его в восторг!

Когда они все трое, обмениваясь впечатлениями, спускались маленькими шажками по внешним бульварам, он вдруг, схватив за руку Арсена, остановился.

— Там! там!.. посмотри под лампою метро... Говорю тебе, что это она!

— Кто она?

— Цивилизация! — вскричал он, взволнованный видом того, как живая статуя, которую он только что любовался в блеске апофеоза, ходит пешком взад и вперед по темному тротуару.

Женщина, увидев, что он остановился при виде ее, подошла к нему с улыбкой на устах.

— Хочешь, пойдем вместе, красивый блондин? — шепнула она ему. — Отпускным всегда маленькая скидка. И потом, у меня, знаешь ли, без обмана, поддельного ничего нет.

Но вместо ответа Патийон, со смутным беспокойством, ускорил шаги, чтобы догнать своих, а Цивилизация голосом, ставшим внезапно наглым, разразилась ему вслед грязными ругательствами.

Так как поезд уходил только на заре, Арсен и Мари решили побродить в лунном свете.

Патийон опять шел впереди них.

И видя, как он шагает в эту лунную ночь, совершенно одинокий, согнув свое огромное, целомудренное

тело крестьянина, хотя его, может быть, и обуревают желания плоти, они невольно прониклись к нему состраданием.

По пути им попала скамейка.

Она стояла в тени дома, которая окутала их, как сообщница.

И так как друг их сейчас же погрузился в сон, покровительствуя таким образом их излишням, они поняли, что наступил великий миг в их жизни.

Тогда Мари, повернув голову к Арсену, обеими руками обвила его шею. И губы его очутились так близко от ее губ, что ему почти не пришлось наклониться, чтобы запечатлеть поцелуем договор, соединивший их судьбу навеки.

Затем, когда по улицам распространился предраассветный холодок, они направились к вокзалу и там укрылись в пассажирском зале.

Всюду спали люди, притиснутые друг к другу среди валявшегося на полу мусора. Лохматые головы опирались о голые груди, щеки прижимались к солдатским сапогам. Резкие паровозные свистки не вызывали ни малейшего содрогания в этой человеческой массе.

Точь-в-точь как поле сражения, после ужасов боя.

Арсен и Мари сели на узенькую, привинченную к стене, скамеечку.

— Я счастлива!.. Я счастлива!— не переставая, повторяла Мари.— Я знаю, мне не следовало бы этого говорить, потому что ты сейчас уезжаешь... Но я не могу молчать... Если бы я этого не высказала, если бы не кричала об этом, радость могла бы меня задушить.

— Дорогая Мари!

— Да, я счастлива... а между тем не чувствую себя совершенно спокойной... Во мне словно беспокойство

какое-то. Мне кажется, будто я украла что-то или зашла во дворец, откуда меня могут прогнать.

— Тебе нечего бояться,— сказал он, крепко сжимая ее в объятиях.— В моем сердце ты у себя дома.

— Боже мой! Боже мой! Сказать только, что я у тебя в объятиях. Какая радость! Это еще так ново, так свежо!

— Да, Мари, это с того поцелуя, вон там, на скамейке.

— Вспомни-ка, ведь я первая решилась.

— Ты обняла меня за шею. А когда я наклонился к твоим губкам, ты задрожала. Ты вся была трепет. Как я испугался тогда!

— Была минута, когда я боялась, что упаду в обморок. Я уже испытала раз нечто подобное... в детстве.

— В детстве?

— Да, когда я, во время первого своего причастия, опустила на колени у решетки хора и священник положил мне облатку на язык.

— У тебя чудесные мысли, Мари... говори... говори еще... У тебя, должно быть, много есть, что порассказать мне... Не забудь ничего, дорогая... я тебя слушаю...

— Но у меня никогда не хватит времени, чтобы рассказать тебе все. Подумай только! Я уже так давно люблю тебя. Достаточно мне было взглянуть на тебя, чтобы полюбить. Я начала любить тебя втихомолку, без малейшей надежды. Я согласилась даже быть твоей поверенной... Мне до того казалось невозможным, чтобы ты когда-нибудь обратил на меня внимание, что я не испытывала ни горечи, ни ревности. Я себе построила из моих любовных мыслей своего рода очень маленькое счастье, о котором никто и не подозревал. Это счастье попросту заключалось в том, чтобы вызывать твой образ, чтобы он обитал во мне. Это была

моя манера любить. Потому что, в конце концов, что же я была такое? Бедная служанка, у которой только и было права пометать немного вечером в своей мансарде после работы...

— Мари, Мари, позволь мне баюкать тебя, как баюкают обиженного ребенка... ты прощаешь меня, не правда ли?

— Нет, не проси у меня прощения! Не ты, а я у твоих ног... И потом, на что же мне жаловаться? Разве у меня нет удачи, такой удачи, как ни у кого на свете!

— Это не удача. Это судьба твоя свершается. Ты моя жена, Мари, жена навеки веков.

Но настал час отъезда.

Надавав ему массу советов предосторожности, которые она давно уже обдумала, Мари захотела проводить его до вагона.

И только двинувшийся поезд разорвал их объятия

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Арсен и Патийон снова заняли свои места в окопе.

Перед ними простиралась все та же пустыня, та же, полная ужаса равнина, откуда исчезли все признаки жизни.

Преждевременная осень плакала над этим безлюдьем.

Этот бесплодный хаос, где сменяющиеся времена года во всем походили друг на друга, вызывал представление о первобытной стихии, какой она являлась в первые века мира, когда мрак еще не был отделен от света и только дух носился над землею.

Они снова увидели на тех же местах несколько трупов солдат, павших впереди линии во время последней атаки и служивших им опознавательными точками. Их почерневшие останки наполнились от дождей каким-то подобием жизни.

Они вновь увидели «Человека, который смеется», опиравшегося спиной о ствол снесенного снарядом дерева и поворачивавшего к ним лицо с зияющей черной дырой; увидели также того, который, с ружьем в руках, зацепился о проволочное ограждение и которого они прозвали «Часовым».

Что касается их товарищей по оружию, то, после недели, проведенной в Париже, они нашли их еще более усталыми и еще более мрачными.

Увязнув в этой грязи, покрывавшей их всех одинаково, подвергаясь непрерывному натиску воды, ветра и огня, они, в конце концов, стали походить друг на друга, как животные походят одно на другое.

Арсен тем более жалел их, что носил теперь в себе надежду на светлое будущее.

У него был талисман, который делал его способным переносить без единой жалобы самые тяжелые испытания. Талисманом этим была любовь Мари.

Он жил в беспрерывном мираже!

Потрю, единственный из всех, не опустил. Часто он стыдил их за уныние.

— Когда получится приказ идти вперед,—крикнул он им однажды,—неужели придется вас, как свиней, подымать сапогом в брюхо! Если так пойдет дальше, вы скоро будете годны только на бойню. Говядина и больше ничего! Можно подумать, что вам всунули вместо сердца мякиш какой-то. А ведь вы дрались когда-то! Вы знали, что такое резня. Вспомните Эльзас, вырванные столбы и атаку, когда мы все вместе глотку драли. Здесь мы для того, чтобы пожинать славу, чорт возьми, а не для того, чтобы валяться в грязи.

— Славу!—загоготал Барлие.—Да нас тогда, мой милый, три миллиона героев!

— Ты еще из тех, что воображают, будто мы об этом думаем,—жалобно сказал Жанвуан.—Хочешь, я скажу тебе, о чем думают? Ладно: думают о своем доме. Вот и все!

— Скажи, пожалуйста, Потрю, уж не ты ли распахнешь мое поле?—в свою очередь вспылил Грегуа.

И при мысли об этой земле, которая останется невозделанной, руки его протянулись, словно желая схватиться за плуг.

— Скажу тебе еще одно, чего ты, поди, и не знаешь. Несколько месяцев тому назад, когда нас поставили лагерем, я услышал, как трещит сверчок, и заревел, ей богу!

— Ты плакал?

— Да, потому что я сказал себе: «Вот и сверчки поют. Пора сажать бобы». Я не мог удержаться. Это нервы.

— Так вот о чем ты думаешь?—зарычал Потрю.—О бобах?

— Верно!—подтвердил Трувион.—Все это в голову лезет. Вот я, разве я думаю о том, чтобы быть героем? Конечно, нет! Я только думаю, хватит ли у меня после войны-то сил бить булыжник.

— Но-о, пошла!.. Но-о-о!—протянул Мазо, кучер.—Я сам себе кажусь клячей, которая тащилась у меня в оглоблях... Вперед!.. И но-о!.. И при каждом ударе хлыста немножко больше подгибаются ноги!

— А я иногда спрашиваю себя, не толкнули ли нас всех живыми в ад,—сквозь зубы промямлил Белланже, бывший деревенский дон-Жуан, длинные усы которого смешивались теперь с бородою, полной грязи...—Да, приходится спрашивать себя, не искупаем ли мы какую-то вину.

Но тут Патийон, в наивном возмущении своей честной натуры, поднялся с места.

— Я—Патийон,—закричал он им,—Патийон из Высокого Сарньяка. И клянусь, что никогда никому ничего дурного не сделал!

— Что тебя укусило?—заворчал Барлие.

Тогда Валетт, чиновник из расценочной комиссии, читавший разорванный клочок газеты, поднял голову.

— Хнычут, брюзжат,—пробормотал он.—А все-таки держатся. И так будут держаться до конца.

— А ведь правда... Плачешь над своей бедой, над брошенной работой, над силой, которую теряешь и которая, может быть, никогда не вернется. А между тем...

— А между тем,—подхватил Валетт,—будь даже открыта дверь, ни один не ушел бы. В каждом из нас словно заключен голос, который кричит нам: Оставайся, так надо!»

— Да... И я слышу этот голос!

— Белланже, конечно, был прав, когда говорил, что мы ищем какую-то вину. Только это вина, тяготеющая над людьми уже целые века. Мы, может быть, ради искупления человечества страдаем и умираем здесь.

— Скажи пожалуйста,—перебил Потрю,—ты в своем клочке газеты вычитал все эти прекрасные слова?

— Нет, я только припоминаю, что нам говорил Жерар, которого поразила пуля в лоб. Он говорил нам: Мы должны пожертвовать своей жизнью, так как война может быть потушена только в нашей крови, война, то-есть, другими словами все, старые заблуждения, которые мы слишком долго уважали, все преступления, которые мы, благодаря им, совершали. Да, все это навсегда потонет в нашем страдании... Значит, примиримся с нею, чтобы наступило царство света.

И так как Валетт продолжал разъяснять эту мысль, Потрю, раздраженный кротостью этого голоса, подскочил:

— Ну, а почему тогда сражаются боши?

Валетт ничего не ответил.

— Ты слишком много читаешь, вот что,—сказал он в заключение, указывая на совершенно черный обрывок газеты, дрожавший в руке его товарища.

— Ты бы лучше молчал,—кинул Жанвуан Потрю.—Вовсе вопрос не в бошах. Зачем ты нас путаешь этим? Мы отлично поняли, что хотел сказать Валетт.

— Да,—подхватил другой,—голос, который мы слышим, это—в нас идея говорит. Мы отдаем свою кровь. Как отдавали ее некогда мученики... Вот и все!

Но то были временные вспышки света во тьме их душ.

Скоро они опять принимались стенать.

И даже во сне жалобы срывались с их уст.

* * *

Благодаря пламени, которое его сжигало и озаряло все его мысли, Арсен был недалеко от того, чтобы считать себя существом привилегированным.

Ему даже совестно было чувствовать себя таким счастливым, и он старался скрывать перед своими несчастными товарищами певшую в нем радость.

Любовь эта, объявившая о себе только в минуту прощания, чудесно и опьяняюще расцветала теперь.

Правда, он ежедневно получал письма от Мари. И письма эти поддерживали в нем иллюзию, что сентиментальный разговор, начатый ими там, в ту теплую ночь, без конца продолжается.

Он отвел им маленькое местечко в углу своего мешка...

Он читал их вечером в землянке при колеблющемся пламени свечи, прилепленной ко дну манерки; он читал их в сыром окопе, держа под шинелью, чтобы предохранить их от дождя. Он пытался даже разбирать в них кое-что при беглых вспышках ракет, когда бывал на ночном дежурстве.

Они украшали каждое мгновение его жизни.

Он дошел до того, что в ужасах войны видел справедливое возмездие за это счастье.

Но все-таки наступил час, когда он ощутил врожденную у каждого потребность в поверенном,

в человеке, перед кем он мог бы излить переполненное сердце.

Конечно, у него был Патийон; но эти сердечные истории вызывали в нем весьма умеренное любопытство; в письмах Мари его интересовала только скобяная лавка.

Между тем, в отряде, место Белана, которого пришлось эвакуировать, занял некто Дешазо.

Это был молчаливый, робкий, как девушка, молодой человек, с которым никто не давал себе труда разговаривать.

Всегда он держался в стороне.

Но когда обозный разносил почту, все видели, как он волновался и с несчастным видом бродил вокруг тех, кто имел счастье получить письмо.

Наконец, он однажды подошел к Арсену.

— Может быть, тебе покажется смешным то, о чем я хочу попросить тебя,—сказал он ему.—Но давно уже это меня мучает. Только не думай, пожалуйста, что меня толкает любопытство. О, нет... просто, так, мне пришлось в голову... Только вот, это трудно объяснить...

— Постарайся все-таки...

— Ты заметил, вероятно, что мне обозный никогда ничего не передает.

— Да, бедняга ты мой.

— Потому что у меня, видишь ли, нет родных, даже какого-нибудь далекого свояка, и то нет. Я—воспитанник попечительства о бедных... И вот я подумал, что время от времени, если это тебе не мешает, может быть, ты считаешь мне иной раз письмо, которое получишь.

— Я не пойму толком, чего ты хочешь.

— Ну, да, это ради этой идеи, ради иллюзии, как говорят... Таким образом я буду похож немножко на других.

— Но, Дешазо, если у тебя нет родных, то есть друзья, знакомые, которые могли бы писать тебе.

— Да, но я не умею читать. Из школы я вышел совсем молодым. Знаю только немного прописные буквы. Больше ничего. Ну, так вот, если ты согласишься, мне это доставит большое удовольствие... Может быть, ты из деревушки, похожей на мою деревушку, где все друг друга знают... И тогда, понимаешь, это меня развлечет, это меня немного обманет...

— Я из Парижа,—ответил Арсен.

— Ну, все равно... все-таки читай мне твои письма. Таким образом Дешазо стал поверенным Арсена. Чтение это погружало его в глубокие мечтания.

— Меня тоже раз чуть-чуть не полюбили,—признался он однажды вечером...—Ей было всего семнадцать лет... Она делала шляпы с красивыми цветами из материи; шляпы эти она продавала в базарные дни крестьянкам. Каждый раз, как я проходил перед ее окном, она мило улыбалась мне и наклоняла головку, совсем как птичка. Мы уже и разговаривать начали. Она мне поверяла свои тайны. Но, кажется, мясник тоже на нее заглядывался, и она всегда немножко боялась, когда случалось ей проходить мимо его лавки, полной крови, а он с ножом в зубах следил за нею глазами... Она приходила рассказывать мне все это на холмик, где я кривым ножом колол шифер, потому что я шиферщик по ремеслу. Я считал, сколько раз она обернется, уходя от меня... И все время я думал о ней...

— Ну, и что же?—спросил Арсен.

— Ну, я узнал от кого-то оттуда, что после она вышла замуж за мясника.

— Бедняга!

— Что ж! Так, может быть, лучше; лучше никого мне не иметь.

— Почему?

— Потому что я уверен, что меня убьют,—кратко ответил он.

Действительно, на следующий же день Дешазо был убит в бою гранатой, неподалеку от Арсена.

* * *

После этого ночного боя, взволновавшего сонную жизнь отряда каким-то кошмаром, полным взрывов и света, люди опять впали в изнеможение.

Потрю один только не успокаивался.

Так как все совершенно безразлично относились к его постоянному гневу, он уселся в своем углу и там забавлялся тем, что короткими, сухими ударами тросточки заставлял подскакивать зубы у черепа, который он за несколько дней до того вытащил из стены окопа.

— Брось,—нетерпеливо приказал ему Белланже.

— Зачем мне бросать? Разве ты не видишь, что это бош?

— А хотя бы и так!

— А я тебе говорю, что меня забавляет шевелить прибор этого молодца.

Белланже, раздраженный этим упрямством, хотел схватить его за руку.

Но Потрю вскочил.

— Если так,—зарычал он, расставив руки,—я уложу одного из них как следует... Да, я иду в бой! Я не тряпка, чорт возьми! Надо мочиться кровью!

— Тебя ухлопают!—закричали ему.

И в эту минуту он показался им таким страшным, что только Патийон отважился удержать его.

Но когда он схватил его, ему показалось, будто он взял за руку ребенка.

Укрощенный этой грубой силой, Потрю сел на место. Его била лихорадка. И казалось, будто он плачет.

Но он быстро справился с этой слабостью.

Несколько дней он держался в стороне, сдвинув брови, словно таил в себе сильное нравственное горе; но однажды вечером опять появился среди них.

— Кто даст мне немножко спирту за коробку консервов?—спросил он.

— Я,—сказал Буавен.

Он выпил, и черты его вскоре приняли дьявольское выражение.

Потом, к общему изумлению, он принялся рассказывать о действительно грандиозном полевом сражении, в котором он никогда не принимал участия, но искренность интонации и изобилие мельчайших подробностей придавали его рассказу оттенок необыкновенной подлинности.

И это стало у него привычкой.

Стоило ему проглотить немного алкоголя, и в голове у него начинали роиться образы славы, созданные его воображением в священный час отъезда, и незаметно становились на место грустной обстановки окопа.

Он начинал волноваться.

А другие, как бы по условному сигналу, собирались вокруг него.

Тогда достаточно было пустяка, какого-нибудь жеста или немого вопроса, выразившегося на лице, чтобы он начал разворачивать перед их глазами эти странные картины войны, с величественным движением армий и гулом схваток в опьяняющем запахе свежей крови, с их атаками, блеском стали и шелестом знамен в лазури славы.

Внимая ему, слушатели смутно заражались тем же возбуждением.

И вот однажды вечером, когда кулаки их сжимались в атмосфере ненависти, созданной этими странными

рассказами, бесконечно нежное хоровое пение послышалось в неприятельском окопе.

То была скорее жалоба, чем пение. И в этом хоре, где голоса так чудно переплетались, звучала такая нежность, что сам Потрю смолк.

— Видите,—сказал Барлие,—это уже не померанцы.

— Полк сменен,—сказал Валетт.—Эти, должно быть, из другой области, помягче, где еще царит *gemütlich*¹⁾.

Ночь была ясная.

Первый раз после возвращения Арсена небо кишело звездами. Показались все, даже самые маленькие.

Они стали слушать.

Пение это, реявшее над ужасами окопов, это грустное *Lied*²⁾ тотчас же вызвало таинственный отклик в их душах.

И вот каждый задумался о своей родине, о городе или о деревне, о домашнем очаге, о детях, играющих перед дверью, о матери, вяжущей вместе с соседками и лицо которой узнаешь между всеми другими издали, хотя они под чепчиком так похожи одно на другое.

Они растянулись на свежей земле.

Буавен перестал есть. Валетт и Мюзарден достали свои трубки: но, чтобы зажечь их, они в этот вечер не прятались головой под шинель. Барлие снял повязки, чтобы освежить немного свои горящие ноги, покрытые венозными узлами. И ему казалось, что он больше не страдает.

Хор против них умолк.

¹⁾ Уютность, сердечность.

²⁾ Песня.

— Вот, в этот час,—помолчав, сказал Барлие,—жена моя гасит газ в лавке и идет наверх спать. Она сажает ребят на колени и умывает их.

— В этот час,—сказал Жанвуан,—у нас на ферме ничего уже не слышать, ничего, разве какая-нибудь скотина заденет рогом за решетку у себя в хлеву.

— В этот час,—сказал другой,—наши сидят под лампою и вспоминают обо мне.

С тех пор, почти каждый вечер, когда в небе загорались звезды, раздавались те же грустные, полные тоски по родине, песни.

Они выползали тогда из окопа и усаживались друг возле друга, как в концерте.

И иногда немцы спрашивали их, что им спеть.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Они стояли в резерве, позади Вердена.

Чудовищная атака, которую повел кронпринц, поглотила уже немало полков.

Получив в свою очередь приказ спуститься к Маасу, они остановились километрах в двадцати за цитаделью, ожидая, чтобы их послали на линию огня.

Наступила ночь, и их согнали в овчарню, где могло поместиться не более пятидесяти овец. Противный запах вымокшей кожи примешивался там к застарелым запахам шерсти и навозной жижи.

Сквозь разъехавшиеся драги крыши виднелись звезды, дрожавшие в морозном небе.

Днем, сквозь частые щели глинобитных стен виднелся снежный простор, местами изъеденный черной проказой.

Выдалось несколько солнечных дней.

Затем погода омрачилась.

Однажды утром, небо загрозоздило огромные тучи и разорвались под бичами шквалов. И место расположения войск сразу обратилось в огромную трясику.

— Готово, — сказал Арсен. — Нет даже уголка, чтобы присесть.

— А я утверждаю, что все идет как следует, — с громким смехом ответил Патийон. — Скоро вода дойдет нам до шеи. И тогда конец войне.

А пушки продолжали грохотать.

Казалось, словно рычит какое-то чудовище, спрятавшееся за горизонтом.

То был широкий и непрерывный гул, окутывавший вас, как ветер, с головы до ног, потрясавший, проникавший насквозь и приводивший в дрожь сердце в груди.

И просыпались, и засыпали под этот гул.

Это было что-то такое же верное, как восход солнца или наступление вечера.

С течением времени они привыкли к этому беспрестанному грохоту. Они его не слышали, как не слышит моряк вечной жалобы моря.

Только лай больших калибров еще мог вырвать их из оцепенения.

Тогда они, ни слова не говоря, смотрели друг на друга.

Бывают минуты, когда люди так смотрят друг на друга и понимают один другого.

Они знают, что накануне вогнали в горнило полк, где он крутится вместе с другими. И они думают о том, что и их очередь приближается.

На некотором расстоянии от стоянки выделялось на небе широкое плоскогорье.

Движимые непобедимым любопытством, Арсен и Патийон иногда взбирались на него.

У их ног лежала затопленная равнина, где на бесчисленных деревянных мостах кишмя кишели войска. Дальше — Верден, с его двухбашенным собором, уже раненым в абсиду. А за Верденом — поле сражения.

Аэропланы танцевали в облаках, вздрагивавших от непрерывных вспышек света; так пляшут летом в грозовом воздухе рои мошек.

Когда наступал вечер, уже нельзя было различить, багровеет ли небо закатом или огнем пушек.

И Патийон, вспоминая, что говорил в окопе Белланже, тотов был поверить, что он находится у входа в ад.

Иногда случалось им видеть возвращение тех, кто дрался там.

Они шли беспорядочной толпою, без оружия, без мешков, спотыкаясь на каждом шагу, угрюмые, покрытые грязью и кровью, с как бы извращенным выражением лица.

Иные шли, положив руку на плечо товарища, а иных приходилось подталкивать. И ужас битвы, еще носившийся у них перед глазами, застигал перед ними окружающую действительность.

Солдаты из лагеря смотрели, покачивая головами, на идущих мимо, как смотрят на спасшихся после кораблекрушения, и говорили себе, что скоро они будут похожи на этих людей, если им повезет, конечно.

* * *

В этот вечер они столпились перед овчарней, около котла, распевавшего песни на горящих лозах; они протягивали руки к этому жалкому пламени, нечувствительные к дыму, который ветер гнал им прямо в глаза.

Их забавлял Патийон, долго дувший на сырые дрова и поднявшийся теперь с совершенно черным лицом, как вдруг внимание их было отвлечено полетом сороки.

Описав несколько кругов над овчарней, она опустилась на дышло провиантской тележки, торчавшее вверх.

— Если сорока кружит над домом, значит ночью в нем будет покойник, — сказал Белланже.

— Может быть, — проворчал Потрю. — Только это даже не дом, это избушка на курьих ножках.

— У нас говорят то же самое, — заметил Патийон, — и еще прибавляют, что смерть забирает самого молодого.

Все взглянули на Арсена, так как знали, что он самый молодой в отряде.

Видели, как он слегка покраснел.

— Я думаю, ты не веришь этим бабьим рассказам, — рассердился, желая загладить свою обмолвку, Патийон. — Ты не веришь этому, а? Потому что иначе, со всеми сороками на крышах, давно уже все лежали бы меж четырех досок.

И так как Арсен продолжал упорно молчать, он продолжал:

— Ну, выдуй свой котелок и пойдем погуляем.

Они углубились в поле.

— Не стоит из-за этой дурацкой истории киснуть, — объяснял он ему. — Потому что, если даже положим, что правда, то самый молодой не ты, а я.

— Покажи мне свою книжку, а я тебе покажу свою.

— Ты хочешь доказать мне, что ты прав. Но ты знаешь, на военной службе считается не возраст, а год призыва. И так как я был призван через год после тебя, знаешь, из-за этого дурацкого перелома, когда я собирал вишни, — я тебе рассказывал, — то я считаюсь моложе тебя, хотя на самом деле я старше. Вот, видишь, нечего тебе беспокоиться.

Такое путанное и взволнованное упрямство растрогало, наконец, Арсена.

— Ну, довольно, — сказал он, — будем говорить о другом!.. Но не думай, что я боюсь смерти.

— Почему же ты покраснел тогда, перед овчарней... почему?..

— Потому что вообще я легко краснею, вот и все. Это со мной иногда еще случается даже после этих двух лет войны.

— Руку дам отсечь, что ты хочешь меня заморочить. Я хорошо чувю, не обманешь, что уже несколько дней, как тебя что-то мучает.

Арсен глубоко вздохнул, словно задыхаясь.

— Да,—сознался он,—меня мучает мысль разлучиться навеки с нею. В окопе я не думал об этом; но здесь, когда слышишь все, что рассказывают!.. Я хочу жить, понимаешь? жить, чтобы наслаждаться всем счастьем, которое ожидает меня, жить ради нее. Будущее слишком прекрасно, поэтому я и дрожу за него немного...

— Да я же говорю тебе, что я моложе!—надрываясь говорил Патийон.—Птица эта имеет касательство только к сыну моего отца и ни к кому другому! И это справедливо. У тебя есть будущее, счастливое, потому что у тебя есть Мари. А для бедного Патийона все пропало. Скажем, земляца, виноградники, которые засадил мой старик; теперь они как хворост, только и годны на то, чтобы огонь разводить. Ну, так вот!

— Ну, перестань, теперь вот ты стал трусить,—сказал Арсен, который при виде этого взрыва отчаяния забыл о собственном беспокойстве.

— Я не трушу... Я говорю только, что все пропало... Ну, да... Нам этого никогда не расхлебать. Люди так все запутали, все, чему нас учили в школе и в церкви, что стало хуже, чем клубок шерсти у кошки в лапах... Господь бог сам не разобрался бы!

— Но черт возьми!.. Земля не умирает!.. Ты всегда найдешь ее!..

— Ах, земля!—сказал Патийон, еще более вдаваясь в пессимизм.—Кто теперь думает о ней? Земля!.. Вот, посмотри-ка, посмотри на нее!

Нагнувшись, он поднял горсть земли, которую хотел, как некогда, размять пальцами.

— Вот, видишь,—прибавил он, бросая ком,—это грязь... И везде то же самое, везде, поверь мне!

Видя его таким расстроенным, Арсен, в свою очередь, старался приободрить его.

— Взгляни-ка туда,—сказал он, указывая ему на стадо запачканных грязью быков, которых военные волопасы подталкивали палками, обитыми железом.

Патийон только плечами пожал. Казалось, что его уже не интересует ничего, что прежде задевало его крестьянскую душу.

Однако, когда к концу прогулки они уселись на широкий ствол свежесрубленного дерева, откуда еще сочился сок, Арсен услышал, как он, при виде поросят, бесплодно копавшихся рыльцами в дорожной грязи, пробормотал слегка дрожащим голосом:

— Подумать только, что и у меня такие были!

* * *

Несмотря на все, мрачное предсказание прочно засело в мозгу Арсена.

Он тем более волновался, что Мари, думая, что он на покое, писала ему письма, полные уверенности и надежды.

И пока сражение безостановочно пылало там, он возмущался при мысли, что, может быть, навсегда будет оторван от нее.

Между тем ему рассказали, что в окрестностях расположения войск поселился фотограф, снимавший на открытом воздухе. Он сейчас же вспомнил, что у Мари нет даже его карточки и что, если он исчезнет, у нее не останется даже утешения, которое имеют и самые скромные люди, в виде изображения, придающего как бы видимость жизни дорогим воспоминаниям.

И тут же он отправился на розыски фотографа.

Перед полотном, на котором изображено было торжественное возвращение войск под предводительством крылатой победы, беспрерывно проходили «бородачи», старавшиеся принять позу покрасивее прежде, чем хлопнет пружина аппарата.

Он стал в хвост. Но и у него времени было не больше, чем у других, чтобы изобразить перед объективом традиционную улыбку, которая должна была заменить для Мари его самого и которой он придавал столько значения!

Тем не менее он приложил этот скромный портрет к длинному письму, за писанием которого провел добрую часть ночи при свете велосипедного фонаря, запачканного маслом и застывшим салом, который каждый вечер зажигали в овчарне.

Отправив это письмо, в котором, нисколько не желая пугать Мари, он все же излил перед нею всю свою безумную любовь, он сразу успокоился, настолько успокоился, что Патийон, в свою очередь излечившийся от робости, не мог удержаться, чтобы не поздравить его.

Так дождались они кануна дня, назначенного для их отправления в передовые окопы.

— Хочешь,—сказал он Патийону,—взберемся в последний раз туда, наверх... Это все-таки подготовит нас немножко к огню сражения.

На вершине плоскогорья они увидели небольшую группу штатских в сопровождении двух офицеров генерального штаба. Там их было с добрую дюжину в дорожных фуражках и хороших шубах. Некоторые были даже в касках.

Они в бинокль осматривали горизонт.

У кого не было бинокля, те кончиком тросточки обводили панораму сражения, кивая головой на объяснения офицеров.

Солдаты, сидевшие на краю дороги, чтобы поесть хлеба, продолжали жевать, повернувшись к ним спиной.

— Что это за люди такие?—спросил Патийон.

Человек, к которому он обратился, намазывал себе на хлеб нечто черное, походившее на мед, почерневший на воздухе.

— Это, друг мой, депутаты. Сейчас с ними был даже президент Республики.

Патийон вытаращил глаза.

— Президент Республики!—повторил он.—А где же он теперь?

Человек сделал неопределенный жест в направлении того, что казалось дорогою.

— Ну, значит мое счастье такое!—жаловался Патийон.

— Надо было, паренек, встать пораньше.

— А ты видел его?

— Как же ты хочешь, чтобы я его видел, когда я ел!

— Вот так беда! И подумать, что один раз уже так случилось со мной. Он приехал, когда мы были в Шампани, помнишь, Арсен? И еще разговаривал с нашими приятелями, но так мило, ровно отец родной. И вот тогда я тоже поздно пришел. Вот незадача!

— А ты знаешь, что это?—спросил тогда тот, который ел.

Патийон посмотрел вокруг.

— Я говорю о том, чем намазываю хлеб, дубина ты этакая! Не знаешь? Ладно, это творог... Сыр такой! Для того, чтобы он был хорош, нужно, чтобы женщина целую ночь держала его у себя под периною. Некоторые

говорят даже, что надо, чтобы она держала его меж ляжками.

Но Патийон все думал о президенте Республ
видеть которого ему опять так злополучно не удал

* * *

Шел дождь, смешанный со снегом.

Они сошли в равнину и направились в овчарню, как вдруг заметили женщину, с трудом тащившуюся по дороге.

Солдаты, к которым она обращалась с расспросами, равнодушно отсылали ее один к другому.

Подол ее юбки отяжелел от пропитавшей его воды, прилипал к ее ногам, и она поминутно спотыкалась.

Вдруг Арсен вскрикнул.

— Там... там... — заикаясь пробормотал он, схватив за руку Патийона. — Разве ты не видишь?.. Ты не узнаешь ее?.. Это она! Это Мари!

— Тебе померещилось!

Сначала Арсен остолбенел от изумления; но почти тотчас же пустился бежать, громко называя ее по имени.

Она обернулась, шатаясь, сделала несколько шагов и упала к нему на грудь.

Это было последнее ее усилие.

А теперь она, поддерживаемая им, вся отдавалась его объятиям, с лицом, обращенным к его лицу, со счастливой улыбкой на побелевших губах... Она дрожала, словно была закутана в ледяную простыню.

— Мари!.. Мари!.. Как могла ты сюда добраться?.. Откуда взялась у тебя сила? Это прямо невероятно!.. И подумать только, что ты явилась тогда, когда я безумно желал тебя, когда больше всего нуждался в тебе!

— Я приехала из-за твоего письма. Чтобы быть с тобой, я до края света дошла бы... на коленях!

Потом, глубоко заглянув ему в глаза, прибавила:

— Но, по крайней мере, неправда то, что мне эти люди говорили?... Вас не посылают завтра в бой?... Они сказали это, чтобы посмеяться надо мной, поугубить меня?..

Он не смел признаться ей в истине и только крепче прижал ее к себе.

Они так углубились в самих себя, что не заметили немного насмешливого любопытства, вызванного вокруг них их страстной мимикой.

— Вы не можете так оставаться под снегом, — сказал им Патийон, смутившийся за них.

— Ты прав! — вскричал Арсен. Бедняжка Мари вся дрожит. Ей непременно нужно убежище... Но куда мы поведем ее?

— Мне вот что пришло в голову. Поведу-ка я вас к Козе.

— Вот, вот, к Козе, мы разведем там хороший огонь.

— Коза? — спросила Мари.

— Это старуха, у которой домишко близехонько отсюда, куда ребята наши ходят, чтобы шкалик пропустить, — объяснил Патийон. — Ее прозвали Козой, потому что у нее под подбородком растет маленькая борода...

— Да, но все эти солдаты, которые пьют там...

— Вам нечего их бояться. Они не злые, даже когда пьяны. И потом они очень боятся хозяйки из-за булавок.

— Из-за каких булавок?

— Которые она, значит, бросает им на ладонь, чтобы погадать им. Вы, конечно, понимаете, мамзель Мари, что в такое время, как наше, лучше не знать того, что будет.

Они пошли по дороге, страшно разбитой беспрестанными разъездами походных госпиталей, автомобилей и артиллерии.

Арсен накинул Мари на плечи свою шинель.

Когда нужно было переходить по илистым рытвинам, образовавшимся от падения снарядов, Патийон подымал ее на руки, легко, как куклу.

И все трое хохотали, как дети.

Лачуга, в которой жила Коза, была без двери. Несколько липких ступенек вело к какой-то яме, где носился запах алкоголя и плесени.

В соседней комнате слышалось пьяное пение и смех. Когда глаза их привыкли к полутьме, они разглядели Козу, сидевшую в деревянном кресле.

Она опиралась бородавчатыми руками о ручку своей палки, и, наперекор ее возрасту, вид у нее был живой, как у курицы, которая ищет корм.

— Вы пить хотите?—спросила старуха, вытирая юбкой почерневший от табака нос.

— Нет,—ответил Патийон,—мы привели к вам эту молодницу, которой нужно обогреться до завтра в кровати.

— Одной?

— Да, я полагаю.

— Ну, так ты ведь знаешь дом, проводи ее наверх. Простыни там чистые. Можешь даже сжечь в камине колесо, которое стоит там около квашни.

Патийон ввел Арсена и Мари в маленькую комнатку, где из мебели была только железная кровать на колесиках и два стула, на одном из которых стояла умывальная чашка и кувшин с водой.

Потом он развел им хороший огонь и скромно удалился.

Тогда Арсен усадил Мари перед камином. Он сам снял с нее платок, которым она обвязала себе голову, чтобы не привлекать на себя внимание солдат, и распустил ее длинные волосы, чтобы осушить их перед огнем.

И, усевшись у ее ног, обвив руками ее талию, он сказал ей:

— Теперь ты всё расскажешь мне.

— Это очень просто. Вчера утром я поднялась спозаранку, чтобы пойти к ранней обедне. Ветром намело много снега на оконные стекла. Я одевалась в полутьме, как вдруг привратница сунула мне под дверь твое письмо. И сейчас же я начала дрожать, словно весь холод комнаты забрался мне в сердце... Предчувствие, понимаешь... Еле сил у меня хватило вскрыть конверт... Потом прочла... И тогда, о тогда...

— Между тем, я ведь, Мари, не написал ничего такого, что могло бы внушить тебе беспркойство.

— Нет, письмо было похоже на все остальные, только оно было еще немножко нежнее обыкновенного. Ты ни на что не жаловался. А между тем я поняла, что совершается нечто очень важное... Я читала между строк... Мне слышался твой призыв... И потом эта карточка, эта бедная карточка, на которой у тебя такая жалкая улыбка... Я до этого была так весела, так спокойна, а тут хотелось плакать, руки ломать. Я чуть не кричала! Сама не зная, что я делаю, я сунула твое письмо за корсаж и вышла. Я шла, я почти бежала, куда глаза глядят. В отчаянии я забыла о церкви, куда дала себе слово пойти, чтобы помолиться за тебя... Я все шла и шла... Вдруг я заметила, что миновала уже линию укреплений. Я оказалась в военной зоне, среди полуразрушенных барачков, где грязь доходила мне до щиколоток.

— Бедная ты моя...

— Затем в ту же минуту я мысленно увидела тебя в еще более печальном, еще более безнадежном месте. Твое письмо я все время ощущала у себя на груди. Я его чувствовала, как боль, которую носишь в себе. И боль эта стала такой острой, что я закричала. Но в ту же минуту ко мне вернулось мужество, как если

в собаку бросают камнями, а она оборачивается, потому что ей сделали слишком больно. И я тут же решила, что во что бы то ни стало, на зло всем препятствиям, пойду к тебе!

— Ну, а как же ты без разрешения добралась сюда?

— Ты помнишь г. Марженго, знакомого Дюфуров, у которого склад и который снабжает теперь провиантом маркитантов на фронте?

— Да.

— Ну вот, я решила, что пойду к нему и попрошу его, чтобы он послал меня сюда, выдав меня за свою служащую. Я была так возбуждена, что как только вошла в его контору, так бросилась, рыдая, к его ногам. Тогда он взял меня за руки, поднял...

— Какой действительно прекрасный человек этот Марженго...

— Потом он прижал меня к себе и сказал: «Не нужно плакать. Я сделаю все, что в моей власти. Доверьтесь мне и оставайтесь в моих объятиях, пока не утешитесь». Я чувствовала у себя на лице его противное, теплое дыхание и губы на своей щеке, близко около моих губ... Я испытывала невероятное отвращение в объятиях этого старика, дрожавшего от желания. Но твое изображение носилось передо мною, и это так поддерживало меня, что у меня хватило силы без содрогания перенести его поцелуй.

Сделав это признание, Мари посмотрела на Арсена глубоким взглядом своих, не умеющих лгать, прекрасных глаз.

— В тот же вечер,—продолжала она,—я могла уже уехать. Самое трудное для меня было добраться вот сюда после того, как я сошла с поезда. Я очутилась на маленькой станции в открытом поле. Оттуда вела дорога, еще погруженная во мрак, по которой люди, лошади и повозки катили безостановочно. Это был

словно поток. Бедная голова моя шла кругом. Тогда меня заметили солдаты. Они сжалились надо мною, посадили меня на тележку и накрыли чехлом, чтобы никто не видел меня. И после того, как они высадили меня на каком-то перекрестке, мне еще долго пришлось идти. Я шла, я почти бежала, по инстинкту, спрашивала и тех, и других, пока, наконец, не услышала, что ты зовешь меня.

— Нет сердца более великого, чем твое, Мари.

— Ты думаешь? А мне оно кажется еще слишком маленьким, чтобы вместить всю мою любовь... Но теперь, когда я в твоих объятиях, ты должен сказать мне всю правду. Я достаточно сильна, чтобы выслушать ее... Почему ты здесь?.. Что это за адский шум мы слышим?.. Скажи мне... Что с вами делают?..

— Завтра, на рассвете, нас посылают в бой. Вот правда.

Мари закрыла глаза. Только легкое вздрагивание плеч выдавало ее волнение.

— Итак, предчувствие не обмануло меня,—пробормотала она.— Мы, значит, вместе проведем эту последнюю ночь!

— Что ты говоришь, Мари?

— Я говорю, что я и для этого приехала сюда.

* * *

Теперь Мари ожидала в комнате нижнего этажа возвращения Арсена, который вместе с Патийоном отправился на стоянку, чтобы получить отпуск на ночь.

Коза уже с минуту внимательно разглядывала ее своими пронизательными глазами, которые из-под темных век казались еще жестче.

Почти молодой смехок играл в морщинах ее лица.

— Так вот,—сказала она,—тебя околдовал этот красивый блондин. Ты краснеешь. Ты, может быть, поражена, что я так говорю в моем возрасте... Подожди, пока доживешь, и ты увидишь... Женщина может быть старухой, может пичкать табак в нос, все равно, она чувствует запах любви.

И, положив руку на ногу Мари, она легонько нажала ее, словно желая вызвать на откровенность.

— Ах,— снова заговорила она,— ты плачешь... Ты счастлива и плачешь... Почему же?

Но Мари уклонилась от прямого ответа.

— Очень вам благодарна за гостеприимство,—сказала она.— Но все-таки я колеблюсь. Не свою ли кровать вы нам предлагаете? Я не желала бы отнять ее у вас.

— Не беспокойся, голубка. Эта кровать у меня для тех, кому она нужнее, чем мне. Если я стелю на ней белые простыни, то не для того, чтобы нежить в ней свою старую шкуру. Я могу спать хоть на угольной куче. Теперь я уже ни перед кем не раздеваюсь.

— Но спите же вы где-нибудь?

— Я сплю вон там.

И кончиком палки она указала на растерзанный соломенный тюфяк, брошенный в самом темном углу комнаты.

— Да, там. Иногда приходят солдаты и растягиваются возле меня, как они растянулись бы около другого солдата. Они засыпают, положив на меня голову. А утром, когда я просыпаюсь, мне приходится палкою прогонять их. Но поговорим немного о тебе, малютка... Ну, милая, открой мне твоё сердечко...

И вот, когда она ждала откровенного признания, дверь в соседнюю комнату распахнулась.

Оттуда ворвался шум.

Их там было человек тридцать «бородачей», растерзанных, наполовину пьяных, под лампою, изливавшею потоки горького дыма.

Одни выкрикивали глупые песни из кафе-концертов. Между ними был старый запасный, упорно ревели какой-то припев со смешным акцентом армейского солдата. А другие слушали его, наливая себе стаканы выше краев.

Потом артиллерист, мавший кулаками гармонику, взобрался на стол, а остальные пошли плясать. И подбитые гвоздями сапоги откалывали посреди луж вина па Сен-Жана и буре.

Так как их было много, то они перед тем, как перейти к великому молчанию смерти, старались производить как можно больше шума.

Лачуга содрогалась от орудийного грохота. И все вместе было полно грусти и отчаяния.

— Запри дверь,—приказала Коза,—но только так, чтобы они не увидели тебя.

Мари прокралась вдоль стены; затем вернулась и уселась около старухи.

— А теперь расскажи мне все. Не бойся, я пойму тебя. Меня не всегда звали Козой. В свое время не один мужчина бегал за моими юбками. Тогда я не напихивала в нос табак и не сосала своих десен. Иногда я кое-что вспоминаю такое веселое, такое свежее, что, хотя и совсем одна, смеюсь, как сумасшедшая... ну, говори...

Мари была тронута этим любопытством, проникнутым какой-то смутной нежностью.

— Ну, скажу,—шепнула она,—у меня никого, кроме него, нет на свете. Только эта любовь и мешает мне быть бедной девушкой. Ничего другого не могу вам сказать.

— Хорошо; но если ты приехала так издалека, то ведь для того, чтобы отдаться ему... перед смертью, правда?.. чтобы он узнал счастье, пока еще не поздно...

— Да,—ответила Мари, опустив глаза.

— Ты не одна такая.

— О, скажите, скажите,—вскричала она внезапно.— Что же такое происходит там? О, скажите мне, что не все умирают, что некоторые все-таки возвращаются.

Она надеялась, что такая старая женщина сумеет успокоить ее, что она будет так милосердна.

И в самом деле, Коза взяла ее за руку.

Но в соседней комнате шум усилился до такой степени, что заглушил гнусавую музыку гармоники.

— Черти!—заорала старуха.—Они все у меня разорят! Они думают, что они у святого Антония! Да угомонитесь вы? Завтра вас заставят плясать другой танец, слышите, танец рук и ног.

— Послушайте,—отступая в ужасе, умоляла Мари.

— А после этого танца останется только провести граблями.

— Послушайте!.. Послушайте!..

— Сукины дети!—кричала старуха.

И бросила палкою в дверь. Но как только восстановилась тишина, взгляд ее перенесся на Мари, и она увидела ее расстроенное лицо.

— Ну,—заговорила она,—не пугайся того, что я им кричала. Человек, когда разозлится, всегда врет... И кроме того, твой-то вернется. Это я тебе говорю. Мне даже незачем смотреть на его ладонь.

И Мари, чувствуя себя как бы освобожденной этим предсказанием, нервно схватила руку старухи и поцеловала ее.

С наступлением ночи Коза заснула, запрокинув голову на спинку кресла.

Огарок, зажженный ею, догорал на краю стола. Скоро осталась только широкая сальная лепешка, в середине которой фитиль погас.

В окутавшем ее мраке Мари слышала тяжелое дыхание старухи и одновременно мягкий шум ее губ, приподымавшихся над деснами при каждом ее дыхании.

Ей стало страшно. Она боялась, что, пожалуй, Арсена не отпустят.

И вот, когда она решилась выйти на дорогу ему навстречу, он, запыхавшись, вошел в комнату.

Они пылко обнялись, а проснувшаяся Коза засмеялась во тьме.

* * *

Зажженный Патийоном огонь потух.

Маленькая комнатка освещалась теперь только огнем сражения, отражавшимся, как на дальнем экране, на облаках.

Арсен неловко взял Мари за руку.

Теперь, когда он знал, что она готова принести ему в дар свое тело, он колебался, он боялся сделать движение, чтобы не оскорбить ее скромность.

Первые шаги пришлось сделать самой Мари.

— У меня корсаж застегивается на спине кнопками,—сказала она наконец.—Ты потяни, и все расстегнется.

Он расстегнул кнопки, но не посмел потянуть за рукава.

— Остальное пойдет,—сказала она.

Из уголка, куда он удалился, он видел, как упала юбка; потом он услышал, как засвистела шнуровка корсета.

Тогда он заметил, что на ней была надета довольно изящная рубашка, украшенная кружевной кокеткою с голубой ленточкой.

И рубашка в свою очередь скользнула вниз.

Несколько секунд она оставалась так, закрыв глаза согнутым локтем, выставляя Арсену напоказ трепещущую наготу своего тела, которое, как она знала, было лучше ее лица.

Из нежного чувства сострадания она хотела, чтобы он унес с собою это тайное изображение ее самой прежде, чем подвергнуться ужасной опасности, которая его ожидала.

Но почти тотчас же она подняла руки к затылку и, когда ее необыкновенные волосы окутали ее, как плащом, она побежала к постели.

Он видел, как между приподнятыми прядями блестели в полутьме частицы ее кожи.

— Скорей, скорей сюда, мой возлюбленный, — сказала она. — Боже, какие холодные простыни! Мне так нужно, чтобы ты согрел меня... Я жду тебя!..

Комната озарилась более сильным светом.

— Ты видел!.. Торопись, ради бога, умоляю тебя. Торопись, чтобы мне не было страшно!.. Мы спрячемся в моих волосах... Скорей!.. Скорей!..

Она одновременно говорила и смеялась, губы ее слегка дрожали.

Тогда он с движениями сумасшедшего сорвал с себя жалкую боевую ливрею, запачканную грязью, сожженную в сражениях, и скользнул к ней.

Обезумев от счастья, прижался он к ее трепещущей нагоде.

Снаружи разразилась словно новая буря. Одновременно грохотали тысячи орудий. Их вспышки следовали одна за другой беспрерывно, поддерживая постоянный свет.

Она спрятала лицо свое в его шее.

Потом страх ее растаял на огне неизбежного сладострастия.

Вдруг она теснее прижалась к нему; вся напряженная, крепко-крепко прильнула грудью к его груди; это было объятие безумное, неслыханно-яростное, объятие такое сильное, что он никогда не подозревал подобной силы в этом слабом женском теле.

Это был поцелуй, бесконечное число раз воспринятый всей плотью, судорога, где двое сливаются воедино, в единое наслаждение, когда им кажется, что они вместе падают в иной мир!..

А теперь, разбитая усталостью, она спала, положив голову к нему на плечо.

Всю ночь караулил он ее, не смея шевельнуться из страха разбудить ее.

Когда заря побелила окошко, он тихонько вытянул руку и оделся, не спуская с нее глаз.

Но когда он уже был готов перешагнуть через порог комнаты, он не мог удержаться от искушения поцеловать ее в последний раз с ужасно эгоистической задней мыслью, что разбудит ее, увидит перед собою ее трепет.

И правда: раньше даже, чем он коснулся ее губ, она раскрыла глаза.

Одним движением, разом вскочила она на ноги.

И совершенно нагая она обняла его с такой силой, как тогда, когда он лег рядом с ней.

Он, дрожа от бесконечной жалости, пытался высвободиться и все-таки был счастлив этим отчаянием, этим возмущением, привязывавшим несчастную женщину к нему.

Так потащил он ее до сеней.

Но долг, выше всех человеческих горестей, руководил его волей.

И он нашел в себе силы вырваться из этих объятий и убежать по дороге, несмотря на преследовавшие его рыдания, которые, ему казалось, он слышал позади себя в восходящем солнце.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

То был адский шум, который Арсен не мог бы сравнить ни с чем слышанным до сих пор, рев такой ужасающей силы, что казалось, будто он доносится из другого мира.

Они были раздавлены разрушительным обстрелом, Trommelfeuer'ом ¹⁾, в котором гремели орудия всех калибров.

Под этой лавиной пламени резко раздавались дикие, короткие вскрики, рожденные почти мгновенной агонией, вскрики, словно взрывы страданий. Здесь некогда было стонать—или спасались, или погибали сразу.

Каждый новый треск рассеивал все мысли Арсена. И страх того, что он не в состоянии будет вновь собрать их и что под черепной крышкой у него останется только огромная пустота безумия, примешивался к страху смерти.

Вдруг его окутала молния. В этом пламени он увидел искаженные лица, судорожно бившиеся, разрывающиеся, горевшие тела!..

Запрещено цензурой

Потом это сверканье сменилось едким дымом, в котором еще дрожали бледные отсветы.

¹⁾ Барабанный или ураганный огонь.

В этой тьме Арсен не различал даже своих рук.

По спине у него струился клейкий пот.

Но когда он, задыхаясь, зашатался, порыв ветра прорвал этот ядовитый туман.

Окоп, в глубине которого он, минуту тому назад, сидел съезжившись, был совершенно сравнен с землею.

Кругом какие-то серые фигуры, из которых некоторые слабо шевелились, распластались по стенкам новых воронок, вырытых снарядами.

Среди них он увидел Патийона, лежавшего на животе. Он спрашивал себя, жив он или мертв.

— Эй!—сказал он, ткнув его легонько ногою.

К счастью, Патийон поднялся, стряхивая покрывавший его пепел.

— Ну, старина,—проронил он,—можно подумать, что все небесные бури назначили себе свидание на наших головах. Как сыплется! Словно корова мочится! Еще немного, и, знаешь...

Но не успел он закончить фразы, как глаза его, расширившись, усталились в одну точку на земле.

Арсен посмотрел по направлению его взгляда и различил человеческую голову, оторванную от туловища и с силою снаряда плотно вклинившуюся между двумя глыбами земли.

То была голова Белланже!

Вид поля сражения совершенно изменился.

Все пространство представляло бесконечный ряд кратеров, которые так живо напоминали кудрявые морские волны, гонимые бурей, что Арсен, расстроенный ум которого не давал себе ясного отчета в действительности, был недалек от того, чтобы вообразить, что он, вместе с другими обломками кораблекрушения, качается на бушующем море.

Впрочем, все впечатления, собранные в эту минуту на его сетчатой оболочке, сочетались таким образом, что могли только укрепить его в этой, наводящей ужас, иллюзии.

Под громами небес вздымались столбы земли, похожие на водяные смерчи, которые расширяются, прежде чем обрушиться.

Поле, обрабатываемое взрывами, словно живое, все время ходило ходуном. Оно оседало и вздымалось, и снова опускалось, как если бы колебалась какая-нибудь жидкость; в его лоне кипели, как во время кораблекрушения, части человеческих тел, оружие, лоскуты экипировки, растерзанные мешки.

Затем Trommelfeuer удалился, чтобы вымести начисто другую зону.

Среди этой равнины, на которой не оставалось больше ни одного опознавательного пункта, Арсен совершенно потерял способность ориентироваться.

Беспорядочно бродили какие-то тени.

Так он увидел, как из вырытой снарядом дыры поднялся его товарищ Потрю.

Он машинально пошел с ним.

Потрю, должно быть, орал во все горло, если судить по его широко-раскрытому рту и горлу, надувавшемуся в вырезе шинели.

Он шел вилляя, как-то странно, спотыкаясь о каждую шероховатость почвы, наталкиваясь на трупы.

И внезапно Арсен, вначале думавший, что он пьян, понял причину этой неверной, качающейся походки. Потрю просто-напросто был слеп!

— Потрю! Потрю!—крикнул Арсен.

Но тот пошел быстрее.

В эту минуту холм против них покрылся молниями

— Ложись, Потрю!

Но вместо того, чтобы лечь, Потрю, руководимый только шумом, ринулся в это горнило, как сумасшедший, кидающийся в пожар. Он шел, влекомый бредом, всей своей прежней яростью, всей своей ужасной жизнью; шел, подняв лицо к бледному небу, жестикулируя и дико распевая!

Кругом него свистела смерть.

Ружье его разлетелось в щепки. Его раздробленная картечью рука превратилась в красную культю, откуда брызгала кровь, а он все-таки размахивал ею. Потом у его ног разорвалась граната. И, как дичь, сраженная охотником, он покатился в яму.

Арсен пополз за ним вслед.

Он нашел его лежавшим на спине, страшно искромсанным. Борода с одной стороны вся была в крови. На его обнаженном пожирающим пламенем животе виднелась огромная, выступившая из бандажа грыжа, на которую он никогда, боясь эвакуации, не жаловался.

Арсен сел около него.

Он еще в окопе видел, как пали Валетт и толстый Буавен. Потом Белланже. Теперь Потрю.

Скоро, вероятно, наступит и его черед.

Он был так слаб, что ему хотелось плакать.

Там валялась фляга. Он залпом осушил ее.

То был удар бичом, который подымает на ноги.

Между тем опять приближался гром артиллерии. Он приближался с быстротою молнии, катящейся в тучах.

Движимый непобедимым любопытством, он поднялся до верхнего края воронки.

Равнина опять походила на беснующееся море. И опять его галлюцинирующим чувствам представился тот же кошмар. Снопы вздымаемой взрывами земли вызвали в нем представление о морских чудовищах, ныряю-

щих в поисках добычи и вздымающих в своем падении массы серой воды.

Снаряды ревели в небе, как сирены на гибнущих судах.

Собрав остаток сил, он попытался было пройти в свой окоп или, вернее, туда, где он его предполагал, как вдруг слух его поражен был приказанием, отданным резким голосом. В этой закоптелой ночи, населенной черными привидениями, он узнал силуэт своего капитана, старавшегося собрать свою роту.

Затем чей-то голос позвал его.

Сидевший на земле человек в отчаянии простирает к нему руки.

Он посмотрел на этого неизвестного, молившего о помощи.

И вдруг задрожал от ужаса.

Эта шинель с разорванным воротом, эта продырявленная каска, эти огромные, волосатые, дрожавшие руки...

— Патийон!—вскричал он.

Ужасная рана как бы вылепила новое лицо из грязи и крови.

Только глаза еще жили, уцелевшие, с их мирным и кратким выражением, в этой мучимой агонией маске.

Арсен бросился, чтобы поддержать его. Но Патийон сделал ему знак не прикасаться.

— Да, это я,—сказал он,—я, который был так силен! А теперь конец! Я себя чувствую, ровно цыпленок, которому сломали крылья. Это конец, говорю тебе. Никогда уж не подымусь я на ноги. Подойди-ка поближе, если хочешь меня слышать. У меня полон рот какого-то варева... и зубы мои бедные все поломаны. Еще ближе... Вот так!

— Патийон!.. Патийон!..

— Вот оно, предсказание!.. Помнишь сороку? Я ж тебе говорил, что это для меня. Теперь ты успокоился, а?

— Не говори же так. Ты поправишься. Ведь, в конце концов, это только лицо.

Недалеко от них разорвался снаряд. Камушки, закружившиеся от ветра, дождем посыпались на их каски.

— Помнишь поле в Эльзасе?—опять заговорил Патийон...—и зерна хлеба, сыпавшиеся на наши манерки с таким же вот шумом? Тогда у нас было крещение огнем... А теперь... теперь соборование.

— Замолчишь ли ты! Пойдем-ка, вцепись в мою спину. Я тебя поведу. Еще раз повторяю тебе, это ничего, ведь это только лицо.

— Лицо и все остальное... Спроси свинью, которую режут, что она думает о своей судьбе... Тело опрастывается, вот что я скажу.

Арсен в самом деле увидел, что штаны Патийона пропитаны кровью.

— Теперь ты понял, ну, так послушай меня... Вот... Ты мне должен одно обещать. Ты должен оповестить о моей смерти у меня на родине, в Высоком Сарньяке... Когда война кончится, ты сам поезжай туда. Ты им расскажешь, как все это случилось... точную правду... Ты им Расскажи еще, что мы вместе всю войну проделали, как братья, что я всегда храбро сражался и храбро умер... И еще разыщи там Барбе, парикмахера, что против рынка... Ты найдешь его, наверно, у двери за газетою, а мать его внутри бреет... Я ходил к нему по воскресеньям. Он все это расскажет другим, и про меня будут иногда говорить в кабачке... или на фермах, на посиделках... Это, пожалуй, не бог знает что, но как я буду знать это, то спокойнее отправлюсь туда... Кажется еще, что имя мое напишут на листе, что висит

в мери, в большом зале... Говорят даже, что там после будет мраморная доска с золотыми буквами... Ну, этим я утешусь, что не лежу возле своих стариков на нашем маленьком кладбище, где так славно греет солнышко. И потом наши парни, и теперешние, и те, которые после будут, прочитают мое имя... Патийон, вот он!

Струйка черной крови, прорвав сгусток на его щеке, потекла у него по подбородку.

Несколько секунд еще покоился его добрый взгляд верной собаки на Арсене.

Потом торс его прямо, как падающая доска, хлопнулся о землю, а руки в смертельной судороге принялись царапать эту неблагодарную землю, которую он так любил, словно он хотел прежде, чем окоченеть, зарыться ею.

Арсен захотел приподнять ему голову; но в ту же минуту треснула земля. Он почувствовал, что улетает в облаке, в котором смешаны все стихии: земля, воздух и огонь. Это было так неожиданно, так ужасно, что все существо его совершенно остолбенело.

Когда он очнулся, то сунул руку под сорочку, машинально вытащил маленькую медаль, которую ему подарила Мари, и прижал ее к губам.

Когда память вернулась к нему, он оглянулся вокруг, но даже след Патийона исчез.

На всем протяжении равнины свирепствовала та же буря.

Тела всплывали в этом движущем хаосе и снова исчезали.

Арсен почти желал потонуть, только бы убежать от этого ужаса.

Но вдруг, как бы по приказу, данному свыше, всюду

воцарилась тишина, и земля застыла до самого горизонта.

Он увидел себя одиноким среди этой, усеянной мертвыми, пустыни, одиноким среди этой тишины, более страшной, чем грохот канонады.

Это был ужас совсем другого порядка!

Его окружало небытие.

У него были только обрывки мыслей, за которые он хватался с отчаянием, желая доказать себе, что у него есть еще сознание, что он не труп между трупами.

На него нахлынуло уже смертельное оцепенение, как вдруг настоящее кошмарное видение подействовало на него, как гальванический ток.

В нескольких шагах от него из земли торчала голова, живая голова, глаза которой пристально смотрели на него.

— Я Шамайар, твой лейтенант,—отчеканили губы.— Меня засыпал землею снаряд. Можешь освободить меня?

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Арсен ногтями принялся царапать землю.

— Там, позади тебя, кусок штыка,—сказал ему Шамайар.

Но Арсен, как окаменелый, остановился, вытянув шею.

— Что с тобою?—спросил его лейтенант.

— Мне кажется, вот они!—заикаясь, сказал он.

В самом деле: две человеческих волны показались вдали. Линии их, как пена прибоя, волнуясь, приближались одна за другою.

Шамайар не мог их видеть, так как лицо его было повернуто в сторону, противоположную этой атаке.

— Много их?—спросил он.

— Да будет два полка.

Пошел снег.

В белых хлопьях резче выделялись кишащие силуэты.

Впереди офицеры в простых фуражках, с пустыми руками, очень прямые и очень спокойные, такие же спокойные, как если бы они перелистывали на ходу бумаги.

— Как далеко они сейчас?—спросил Шамайар.

— В пятистах метрах, не больше.

— И все идут вперед?

— Да.

— В таком случае прострели мне голову.

— Не могу, г. лейтенант. Нет, не могу, у меня никогда не хватит храбрости.

— Я тебе приказываю... Стреляй и спасайся.

— Пощадите, г. лейтенант!

— Ты предпочитаешь, чтобы они убили меня сапожищами? Еще раз... приказываю тебе!

И Арсен, дрожа как старик,

. *Запрещено цензурою*

.

Он проходил по необъятным скопищам убитых.

Противные, липкие вещества

. *Запрещено цензурою*

приклеивались к его подошвам.

Но инстинкт, более сильный, чем что бы то ни было, толкал его, приказывал его членам.

Попрыгав некоторое время из воронки в воронку, под железным дождем, начавшим снова трещать, он скатился в окоп, который люди заканчивали рыть штыками.

Окоп этот был так узок и так неглубок что занимавшие его люди для того, чтобы защитить свои головы от картечи, клали их в сделанные в стене дыры.

Арсен весьма смутно понимал, что происходит вокруг него.

Все-таки он слышал слабый шопот голосов.

— Так... Семидесятипяти-миллиметровые бьют по куче.

— Настоящая партия в кегли!

— Говорю тебе, они окапываются!

— Они останавливаются!.. Остановились!

Но тотчас же он погрузился в сон.

И снилось ему, что он лежит в своей кровати и, чтобы не слышать адского шума, старается натянуть одеяло на голову, а оно все скользит у него из рук.

* * *

— Что мы, будем здесь гнить, что ли?—прорычал капитан Ронден, прозванный «Пулей в заднице» — либо немецкая пуля, которую еще не успели извлечь, устроилась в наиболее мясистой части его osoby. Вот, идея, чорт возьми, поселиться у покойников!

— Будем считать себя счастливыми, что нам удалось откопать это убежище,—заметил Арсен.

— Не думаете ли вы, что я буду в этом склепе дожидаться судного дня, лежа на ящике костей вместо тюфяка?

— Но послушайте, капитан, ведь было бы безумием вылезть наружу. Ведь там железный потоп!

— Там и муха не пролетит.

— Начальник я или нет?

После того, как Арсен провел сутки в этом случайном окопе, где ему, измученному Trommelfeuer'ом, удалось осесть, пришла смена; но из-за новой поливки этой местности, люди увидели, что им не добраться до стоянки.

Таким образом Арсен и еще несколько уцелевших от этого великого побоища вынуждены были тотчас

же укрыться в развалинах деревушки, словно превращенной в щепы под тяжестью чудовищного молота.

Одни укрылись в погреба, открыв туда отдушины, другие в пещеры каменоломни.

А маленькая группа, сплотившаяся вокруг капитана Рондена, рассеялась по кладбищу.

Взрывы тяжелых снарядов разворотили могилы, и кости, перемешанные с обломками крестов и металлических венков, валялись на поверхности земли.

Пока они искали, куда бы зарыться, Трувиону, каменщику, посчастливилось открыть довольно большой, пощаженный артиллерийским огнем склеп, куда они и укрылись, несмотря на бешеные протесты капитана.

Каменные стены, запачканные пятнами селитры, до известной степени обеспечивали их от возможности обвала.

Чтобы проветривать это подземелье, отравленное ядовитыми испарениями, они проделали в замке свода отверстие, шириною в туловище человека, которое каждый раз, как подымалась канонада, они затыкали толстой балкой.

Гробы служили им скамьями.

Они теснились там уже двое суток, питаясь консервами и зажигая время от времени бывшие еще у них в мешках огарки.

Хуже всего пришлось им в первые минуты, потому что надо было устраиваться под непрекращавшимся огнем.

Каждый раз, когда снаряд разрывался неподалеку от их убежища, склеп наполнялся терпким дымом, разъедавшим глотки и легкие, и следовавшая за этим погоня за воздухом бывала иногда так стремительна, что свеча гасла и они падали друг на друга.

Затем им пришлось защищать свою провизию

и самим защищаться от огромных, как коты, крыс, и каждый из них по очереди дежурил ночью со штыком в руке.

Кроме капитана и Трувиона, единственного вместе с Арсеном уцелевшего из отряда, там был еще сержант Фабер, веселый плут, с самого начала кампании сражавшийся рядом с Ронденом, вечно с большим увлечением рассказывавший о кутежах, которые он учинял в Реймсе, когда они там отдыхали; Бюре, бывший разносчик, мастер на все руки, про которого Фабер говорил, что он может спаять два волоса; Леонар, несчастный человек, со скверной язвой на ноге, такой слабый, что ему приходилось класть пищу в рот; Мюло, служащий при ско-тобойне, по-своему убивавший бошей, как раньше убивал быков, Мюло, прозванный Красным и чувствовавший лишение только в том, что не мог ежедневно выпивать стакан теплой крови, которую он пил там после работы; лицо его было изрешетено маленькими кусочками стали, которые он выдавливал пальцами или выковыривал кончиком ножа. Был там, наконец, Лансон, молодой сельский священник; его кроткая покорность среди всех этих испытаний постоянно служила предметом изумления для его товарищей.

При чудовищном взрыве, от которого заколебалось пламя их свечи, опять загорелась вся злоба Рондена.

Этот бывший унтер-офицер был, в сущности, добрейший человек.

Сын маркитантки, никогда не знавший других горизонтов, кроме стен своей казармы, никогда не приспособившийся к другому ритму, кроме военных сигналов, он заплатил за свои три галуна целой жизнью суровой чести и безупречной дисциплины. У этого героического бойца, этого своего рода солдата высшего порядка, который словно выскочил из картины «Последние

патроны» ¹⁾, была в сердце только одна любовь, любовь к своим бедным «бородачам».

— Что же это, тюрьма? — кричал он. — Переключка заключенных и затем замок на ключ! Это война, по в-шему?

— Конечно, это не большие маневры, — пробурчал Мюло.

— Я вас спрашиваю, намерены вы дальше жрать ваши проклятые консервы, пока у вас кишки не сведет, как рубцы? Зачем нас послали сюда? Для того ли, чтобы проливать кровь на полях сражения или чтобы выпускать ее из себя при коликах?

— Но, г. капитан...

— Ну, скажите мне сейчас, что мне надели шашку для того, чтобы драться с крысами!

— Мы здесь... мы здесь... ну, чего там, — вмешался Г. — Как только возможно будет, мы важно подеремся. А пока приходится притворяться покойниками с теми, кто на самом деле покойник.

— Ну, а я не могу больше здесь оставаться! Кровь стучит у меня в жилах. Пусть мне лучше исковеркают рожу.

— Но, боже мой, нам ведь только что коверкали рожу, дайте нам перевести дух!

— Перевести дух! Перевести дух!.. А все те, которые пали героями, они переводят дух? А Самсон, старший унтер-офицер, которому у меня на глазах снесло голову, как шар бильбоке; а Тало, а Казен, которые шли навстречу пулеметам и так хладнокровно относились к пулям, которые те плевали в них, словно это были капли воды!

¹⁾ Картина А. де Невилля, изображающая патетический эпизод из защиты Базейля от баварцев в 1870 г.

— Бедняги!—вздыхнул сержант Фабер.

— Ты-то их хорошо знал,—подхватил Ронден, голос которого тотчас же смягчился.—Когда я думаю о них, это меня электризует и в то же время зверем делает!

И он сел на гроб рядом с Леонаром, который слюнил свою язву на ноге, окруженную широкой полосой цвета мертвого листа.

— Дорогу!—прокричал голос снаружи.

То был Трувион, вернувшийся с водяной повинности.

Эта повинность заключалась в том, чтобы проползти под ураганом картечи с сотню метров через развалины деревушки, до подножья холма, с которого обозные скатывали пятидесятилитровые бидоны, которые и растаскивались по ямам, вырытым снарядами.

Открыли отверстие, и Трувион, протолкнув туда бидон, сам скользнул в склеп.

— Вот вода,—сказал он.

— Вода! Вечно вода!—вспылил Ронден.—Вот г... на этот раз я ноги вымою твоей водой!

— Вы вымоете себе ноги этой водой!—вскричал вион.

— А ты хочешь, чтобы я разгуливал с аквариумом в желудке? Нам нужна водка, вот что!

— Что касается водки,—заметил Бюре,—то ее, пожалуй, можно было бы достать в форте Сувилль. Только, чтобы достать ее, водку-то, придется пройти через заградительный огонь.

— Стоило бы попытаться, потому что ее уступают по шестнадцати су,—сказал Трувион, как будто бы существовала какая-нибудь связь между скромностью цены и риском достать водку.

— И что же?—спросил Бюре, окидывая взглядом своих товарищей.

— Итак, решено, я иду!—воскликнул Ронден.

— Г. капитан!—умолял Арсен.

— Что такое?

— Вы идете на самоубийство.

— Ты хочешь помешать мне выйти?

— Вы не можете и двадцати шагов сделать с вашей раной.

— Убирайтесь к чортовой бабушке! Я иду!

Но движение, которое он сделал, чтобы выбраться в отверстие склепа, вызвало у него крик боли.

— Вот видите...

— Что я вижу?.. Что штаны приклеились у меня к заднице. Вот тоже беда!

— Вы бы лучше сделали, если бы полечились...

— Мне лечиться... из-за пули в заднице! Нечего сказать, избалован я! Если так, посадите меня в тележку с флажком и возите меня, как ларек с вафлями...

— Но, г. капитан...

— Прежде всего я тебе не капитан. Я—Папаша. Зови меня Папашей, чорт возьми, или я тебя!..

— Ну, хорошо, Папаша, но вы нам нужны. Не начальник должен жертвовать собою!

— Вы находите, что нас еще мало побили,—подкрепил сержант Фабер.—Вы хотите, чтобы вас убили из-за такой глупости.

— А, чорт возьми,—возразил Ронден, на лице которого вдруг отразилось сильное страдание,—ты, знаешь, не понял... Не понял, что мне наплевать на водку и что если я хотел подышать свежим воздухом, то единственно потому, что не имею права больше оставаться здесь, закопаться в этой яме, как отравленная крыса, тогда как все остальные дали убить себя... да, все остальные... все мои славные парнишки, на заре своей жизни... Нет, нигде не сказано, что останутся в живых только старые шкуры!

— Но и вы сами ведь заплатили собой, вы были ранены!

— Нечего сказать, рана!.. Так, значит, мне всучили Почетный Легион, три галуна на рукав и военный крест с пальмами за пулю в заднице! Тридцать лет я журу на казенный счет, и у меня ничего нет, кроме пули в заднице!

— Вот, что я вам скажу, Папаша! Если бы Тало и Казен не были убиты, а были бы еще здесь, они сказали бы вам то же самое, что я!

— Тало!.. Казен!.. Самсон!..—опять пробормотал Ронден, увлеченный силой своих воспоминаний.

— Помните их в Реймсе? Папашина шайка, как говорили.

— Помню ли я их! Каждый вечер пьяны, но в бою железные люди! Ах, какие товарищи... ах, какие веселые товарищи!

— А семейный пансион тетки Гравелен!—вскричал Фабер, радуясь тому, что может отвлечь его внимание.— Табль д'от, за которым мы, стуча вилками о стаканы, хором пели *La Pomponnette* и *Verse à boire*.

— Да, шумели немало!

— А Рамон, наш общий любимец, маленький лейтенант, такой горячий и такой храбрый!.. Талия, как у молодой девушки, а храбрость—льва!

— Не говори об этом, ты мне душу надрываешь!

— Я еще вижу его среди нас, как он сжимает в объятиях свою девчонку, этого шестнадцатилетнего ребенка, безумно его полюбившего!.. Ах, как все это было красиво! Но ведь это целая история!

— Если это целая история, расскажи нам,—настаивал Бюре,—хоть время уьем.

— Ладно. Так вот,—начал он, скользнув взглядом в сторону капитана, который, наконец, успокоился.—

Однажды в воскресенье Рамон встретил эту девочку, в полдень, перед собором, куда она часто, в промежутки между бомбардировками, ходила молиться. Он, как Фауст с Маргаритой, заговорил с нею на паперти и сделал ей несколько комплиментов насчет ее улыбки, ее белокурых кос и бледно-голубых глаз, таких бледно-голубых, что оттенок этот был, должно быть, только у нее одной. Малютка казалась очень оскорбленной, она даже попросила его никогда больше не подходить к ней, если они встретятся. Но не прошло и недели, как наш друг, который почти забыл о ней, вдруг увидел, что она входит в нашу столовую вместе с теткой Гравелен. Все это время она разыскивала его. И она, нисколько не стыдясь, подошла к нему с таким видом, словно несла в руках свое сердце.

— Она была немножко подмоченная, душенька-то эта,—проронил Мюло.

— Ошибаешься, мой друг. Напротив, то была настоящая молодая девушка.

— Гм!.. гм!..

— Не касайся этого,—в свою очередь сказал Ронден,—не касайся, потому что Рамон уже умер!

— Правду сказать, мы не много знали об ее жизни,—снова заговорил Фабер,—знали только то, что она жила со своим слепым отцом в пригороде Реймса и что в гостиной у них висел ее портрет в натуральную величину. Сделал его какой-то американский художник и изобразил ее с голой грудью, что нас иногда навредило на мечты; мы не могли сомневаться в том, что она настоящая молодая девушка, потому что это сверкало во всей ее маленькой особе, как солнце сияет посреди неба. Каждое утро перед тем, как выйти из дому, она просила у отца благословения. Он приподнимался на своей постели и большим пальцем проводил у ней на

лбу знак креста. И с этим невидимым знаком на своем чистом лбу приходила она к Рамону и чистосердечно протягивала ему губы. Они были женихом и невестой. И когда мы пели *Pomponnette*, он, обняв ее одной рукой за плечи и протянув за вином другую, прижимал ее к сердцу... А однажды вечером мы видели, что она полными отчаяния глазами смотрит на него. Она узнала, что завтра же он должен уйти к своему посту, находящемуся километрах в двадцати от Реймса. Эту последнюю ночь он провел, без ведома ее отца, в ее девичьей комнате, зарывшись лицом в ее волосы. А рано утром она провожала его через весь город. Он ехал верхом, а она настояла на том, чтобы идти рядом с ним так далеко, как только можно было, и все время ее рука была в его руке...

* * *

Пушки грохотали сильнее, чем когда бы то ни было. Пламя свечи непрерывно колебалось.

— Как давно мы сидим уже здесь?—спросил Фабер.

— Мы здесь уже неделю—ответил Мюло.

— Неделю!—вскричал Бюре.—Я тебе говорю, четыре дня, старый ты гнойник!

— Зачем же я считал тогда через щель, сколько раз всходило солнышко!

Раздраженный спор грозил затянуться, и Арсен, чтобы отвлечь их внимание, указал на Леонара, которому при помощи одеяла устроили постель в гробу.

— Ну, а ты как себя чувствуешь?—спросил он, раскрывая его ногу, обернутую мокрой тряпкой.

— Он хорошо себя чувствует,—уверял Бюре.—У него просто-напросто кровоподтек.

— Кровоподтек!—насмешливо сказал Мюло.—Ты называешь это кровоподтеком. Я только скотобоец, это

верно. Но я знаю болезни людей так же хорошо, как болезни животных. И то, что ты видишь там, это антонов огонь. Я могу объяснить тебе насчет этой кокарды странного цвета, что расплылась теперь вокруг язвы. Это не что иное, как мертвое мясо. Понюхай только.

... *Запрещено цензурою* ...

— И я то же думаю,—спокойно сказал последний.

— Мало сказать, что ты то же думаешь,—проворчал Ронден.—Надо лечиться. Мы знаем, что на всех нас рано или поздно порастет садик. Только из этого не следует, что мы еще при жизни должны вонять друг другу под нос.

После этого Лансон сделал ему повязку, смочив ее иодом.

— Пить хочу,—прошептал Леонар,—очень побледневший при этой процедуре.

— И я!—сказал Мюло.

Со вчерашнего дня их снабжение водою прекратилось.

— Нельзя же так оставаться!—вскричал Ронден.—Надо пойти на риск. Это стоит жизни человека!

— Какой риск?—спросил в темноте чей-то голос.

— Надо пойти к реке и принести бидон воды.

Они переглянулись; река была далеко, а взрывы следовали непрерывно один за другим.

— Незачем так пристально смотреть друг на друга,—продолжал Ронден,—потому что я пойду туда.

— Ну, вот, вас опять разобрало,—не мог удержаться, чтобы не сказать, Арсен.

— Что же это, «синие»¹⁾ осмеливаются возвышать здесь голос!

— Еще раз повторяю: не вам выходить, это было бы несправедливо.

¹⁾ Синий—французский синеглазник, новобранец.

— Что он там еще поет, этот солдатик? Несправедливо, чтобы старики жертвовали собою ради молодых?

— Ладно,—предложил Мюло,—в таком случае, давайте, кинем жребий.

Так как предложение это встретило всеобщее сочувствие, то Ронден в конце концов уступил.

Мюло протянул свое кепи.

Каждый, за исключением Леонара, положил туда кушечек бумажки, со своим именем.

И судьба указала сержанта Фабера, который сейчас же и выскользнул вон.

День миновал, а он не вернулся.

Никто не сомневался в том, что он убит.

Но они, несмотря на муки, не решились вторично испытать судьбу.

— Пить!—хрипел Леонар.

— Назначьте другого!—приказал Ронден.

На этот раз выпало имя Трувиона.

Но не успел он сделать и нескольких шагов, как послышался дикий крик.

Ночью Арсен выполз наружу и нашел его плавающим в луже крови.

За ноги притащил он его в склеп.

Из его продырявленного лба свешивался на глаз кусок мозга.

— Мертв!—сказал Ронден, пощупав ему сердце.

Арсен хотел скрестить ему руки на груди.

— Видишь ли, слишком рано еще,—объяснил ему Мюло.—Люди, как быки. Когда они только что убиты, в роде как на скотобойне, тело прежде всего становится тверже дубины. Надо подождать, пока оно оттает. Вот как!

И пока опустившийся на колени Лансон шептал над ним последние молитвы, Арсен разглядывал телесную оболочку этого смиренного человека, просившего об

одной только милости: о том, чтобы сидеть на краю дороги и бить на ней булыжник; он взялся за этот труд, распевая песни. Но судьба нашла, что он еще слишком требователен.

Два года незаслуженных страданий не оставили на его исхудалом лице другого следа, кроме покорной улыбки.

И вот, когда Мюло старался вырезать из консервной коробки крест для несчастного Трувиона, Ронден резко выпрямился.

— Вы ничего не слышите?—спросил он.

— А ты что слышишь?

— Боши... Они здесь... Они топчут нас...

— Бросьте! Это у вас от жажды такие мысли! Так случается, если у человека несколько дней не было маковой росинки во рту. У него прямо в голове мутится.

— Я вам говорю, что они тут!.. Они нас схватили, они нас держат!

— Может быть, это он крыс слышит,—вставил Арсен.

— Ну, конечно, это крысы,—подтвердил Бюре.

— Чорт!—прорычал в ту же минуту Мюло.—Вот и Леонар тоже остыл.

Но Ронден, не слышавший этих слов, схватил револьвер и, подняв закрывавшее вход в склеп бревно, зарывал сквозь огненную бурю, носившуюся над землею.

— На этот раз, идите за мной, если вы не трусы... Вперед, и тем хуже тому, кто падет!

Наэлектризованные этим призывом, они устремились за ним, и к полуночи им каким-то чудом удалось всем добраться до своей стоянки.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Для Арсена результатом этого ужасного испытания явилась эвакуация в маленький провинциальный госпиталь.

Там он вследствие крайнего физиологического истощения получил отставку по второму пункту и вернулся к Мари.

Тогда только, через некоторое время, они решили для проформы попросить у своих старых хозяев разрешения на брак.

После целого ряда глупых и глубоко оскорбительных вопросов, которыми те их осыпали, как слуг, о матримонимальных намерениях которых внезапно и с удивлением узнаешь, Дюфуры очень охотно дали разрешение.

Они даже взяли на себя все расходы по свадьбе и, воспользовавшись этим случаем, задали банкет на пятьдесят человек у Дегува, к которому пригласили всех знакомых для вящего своего прославления; на этом празднестве вовсе не занимались главными виновниками торжества, оставшимися совершенно незамеченными.

Так как они, между прочим, очень великодушно предоставили в распоряжение молодых супругов маленькую квартирку над лавкою, которую они прежде занимали сами, молодожены в первые дни своего медо-

вого месяца наслаждались там ничем не нарушаемым счастьем.

Комната, где они укрылись в полутьме, поддерживаемой закрытыми ставнями, была для них раем.

Но с течением времени Мари стала с беспокойством замечать, что к любви, которую Арсен к ней питал, у него примешивалось какое-то болезненное неистовство, плотское желание, доходившее иногда до страдания.

Его словно медленно пожирал огонь, который угасал и вновь возрождался из пепла, бесконечно.

Потом, однажды ночью, когда он держал ее в своих объятиях, когда его опьяняли ласки всего ее тела, поцелуи ее горящих губ, прикосновение ее волос, окутывавших его словно шуршащим покровом, и ощущение ее груди, которые казались его груди двумя огромными, прохладными поцелуями, он вдруг упал в обморок.

Тогда Мари поняла, что его, по возможности, нужно отвлечь от губительного влияния этой комнаты, от порывов страсти, губящих его, как самая жестокая болезнь.

И она намекнула ему, что им следовало бы, пожалуй, серьезнее заняться магазином, который они на короткое время поручили заместителю и который Дюфуры за известную плату совершенно уступили им.

Она обрадовалась, увидев, что он не стал особенно противиться этому желанию.

Но когда, после нескольких дней этого сладостного уединения, во время которого они выходили только по вечерам на небольшие прогулки, чтобы подышать воздухом, она увидела его при более резком свете магазина, мучение ее не только не улеглось, но еще возросло.

Арсен не был тот же, что прежде.

Не то, чтобы он очень изменился физически.

Только цвет лица стал у него желтее, да на скулах появился легкий румянец, а в глубине глаз было словно небольшое разлитие желчи.

А Мари ожидала новая неожиданность, не менее мучительная, чем первая.

В самом деле: едва только Арсен снова стал работать в магазине, как и там он тоже обнаружил странности, хотя и другого рода, чем наверху, в спальне.

Его любовное неистовство преобразилось здесь в лихорадочную деятельность, выражавшуюся в беспорядочных жестах, столь же обильных, сколь и бесполезных.

Он хотел все преобразовать.

Ничто не казалось ему выше его сил.

А между тем ежеминутно ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. И если, по несчастию, ему приходилось переставить на полке более или менее тяжелую вещь, лоб и виски его сейчас же покрывались потом.

Наконец, что было еще серьезнее, он, несмотря на эту безумную трату движений, решительно ничего не успевал сделать и совершенно не отдавал себе отчета в тщетности своих усилий.

В довершение несчастья, забота совершенно другого рода присоединилась к беспокойству Мари.

По соседству с ними открылся большой магазин-базар с крупным отделением жестяных и скобяных изделий, и многие покупательницы покинули ее и стали ходить туда.

Ей стало трудно платить в срок.

И она даже вынуждена была попросить у Дюфура маленькой отсрочки для последнего платежа.

А на следующий день после того, как она попросила отсрочки, в магазин явился Эскартфиг.

Он проверил ее книги, кассу, долго расспрашивал ее об ее доходах, о запасах и удалился, не сказав ни слова в извинение или хотя бы в объяснение.

Мари довольна была, что он не застал Арсена, которого она отправила немного прогуляться.

Но не прошло и недели, как Эскартфиг явился снова.

Она только что усадила своего мужа в кресло возле стеклянной двери, потому что минуту тому назад с ним был легкий припадок удушья.

— Пожалуйста, — сказал Эскартфиг Арсену, — не беспокойтесь. Вы так хорошо сидите.

— Это я усадила его на солнышке, — сказала Мари. — Он чувствовал себя немного утомленным.

— Утомленным!.. А вид у него совсем не больной!.. У него даже хороший цвет лица... Если он хочет, я куплю у него кресло. Потому что, видите ли, я уже двадцать пять лет ожидаю увольнения от службы!

— Я не говорю вам нет, г. Эскартфиг. Но думаю, что со своей стороны Арсен заслужил того, чтобы отдохнуть немного.

— Я думаю скорее, что плут этот просто питает слабость к системе Д, — сказал он, пытаясь смехом ослабить ядовитость своих слов... — Хорошее кресло, туфли, подбитые мехом, шапочка от сквозняков, словом, все штатское!.. Признаюсь, и я бы мог так разыгрывать бедуина на солнышке.

До этого Арсен слушал, сидя в своем кресле, не проронив ни слова.

Но когда тот назвал его бедуином, он вскочил на ноги с таким пламенем в глазах, что Эскартфиг, поспешно задав Мари несколько вопросов о результате ее торговли за последнюю неделю, поторопился уйти.

Арсен, прижавшись лбом к стеклу, следил, как он удалялся по улице, пока не исчез из виду.

Когда он обернулся, Мари увидела у него то же самое пламя в глазах.

— Бедуин! Он назвал меня бедуином!—не переставая, повторял он.

Казалось, что из всех насмешек Эскартфига, он запомнил одно это слово.

— Бедуин... Я!.. Я—бедуин!

— Успокойся, прошу тебя.

— Нет, слышала ли ты, что сказал этот хлыщ... Бедуин!.. Возможно ли это? Что ж, я бедуина, что ли, разыгрывал у Сайи-Саллизеля, у Тагюра. В следующий раз я расскажу ему, этому бедуину, про одно из моих сражений!

И вот, в следующие же дни он принялся рассказывать Мари о всех крупных сражениях, в которых он принимал участие, он, кого осмелились назвать бедуином!

Однажды вечером, когда они кончали обедать в комнатке за лавкой, Арсен повел долгий рассказ о знаменитом Trommelfeuer'e под Верденом, от которого он уцелел каким-то чудом.

Он снова переживал эту адскую бомбардировку, с ее грохотом, дымом, хрипением. Он описывал ее с красноречием, которого она у него никогда не подозревала.

Казалось, будто в нем заключено новое существо, которое только начинает сказываться.

Резкий свет ауэровской горелки освещал его жалкое, похудевшее лицо, все фибры которого трепетали.

Вдруг легкий озноб прошел у него по плечам.

Он едва успел поднести платок к губам, и, когда он отнял его, Мари заметила, что платок весь красный!

У нее все-таки хватило сил превозмочь свой ужас.

Она согласилась с ним, что кровь эта могла быть

только из горла и что нет никакого повода к беспокойству.

Она даже не противилась, когда он начал рассказывать о новом, столь же страшном сражении.

Но на утро она повела его к знаменитому специалисту, адрес которого ей указал Тардье, аптекарь.

Врач долго исследовал его. Но когда он кончил осмотр, он заметил, что лицо Мари покрылось смертельной бледностью. Он видел смертную муку, готовую свалить ее, несмотря на все ее умение владеть собою...

— Ну, что, доктор,—спросила она, не давая ему заговорить первому.—Это пустяки, не правда ли?

— Ничего особенного,—ответил он, так взглянув на нее, что взгляд этот потряс ее до глубины души.

— Послушай,—сказала она тогда Арсену,—возьми taxi, там, внизу, и поезжай прямо в магазин, где мы оставили соседку; не может же она еще дольше ожидать нас там. А я тоже скоро буду дома, только схожу в аптеку.

Затем, как только дверь закрылась за ним, она обратилась к человеку науки.

— Теперь,—сказала она,—вы должны сказать мне всю правду.

— Правда, сударыня, то, что он погиб,—ответил доктор, понявший, что между такою женщиною и им неуместна ни малейшая ложь.

Мари, чтобы не упасть, вынуждена была ухватиться за угол стола.

Сначала ей показалось, что вся жизнь ее куда-то покатилась, и она вдруг стала старой, очень старой женщиной.

Но в ту же минуту высшее усилие воли выпрямило ее.

— Вы говорите, что он осужден безвозвратно, совершенно неизлечим, не правда ли?

— У него туберкулез, который развивается очень быстрым темпом и который не поддается никакому лечению, особенно, если принять во внимание крайнюю степень истощения всего организма.

— В таком случае,—твердым голосом сказала она,—я решила вот что. Но раньше, чем поступить по моему разумению, я хочу иметь ваше одобрение. Бедный муж мой слишком много страдал для того, чтобы еще отравлять ему последние дни жестокими муками этой болезни. Значит, я не пошлю его ни в санаторию, ни даже куда-нибудь в деревню, пусть живет около меня. Пусть делает, что хочет, я только тогда буду останавливать его, если он захочет поступить как-нибудь неосторожно, что могло бы иметь для него роковые последствия. Я не лишу его ни одного из его привычных удовольствий, не откажу ему даже в ночных наслаждениях. Таким образом, жизнь его будет, может быть, несколько сокращена, но зато я дам ему возможность закончить ее в полной иллюзии счастья.

— Одобряю,—просто ответил специалист.

Он отказался от денег, которые она вынула из ретикюля, чтобы заплатить ему, проводил ее до двери и низко поклонился ей.

Когда Мари вошла в магазин, она увидела Арсена, беседовавшего с Пакоттом, фабрикантом рубашек.

Он прочел в газете, что полковник Ланглей, командовавший в Шампани полком, в котором служил Арсен, назначен бригадным генералом.

Повидимому, новость эта сильно взволновала его.

— Да, малютка,—обратился к ней Арсен без всяких предисловий.—Ему нашили две звездочки. Ты понимаешь, конечно, что я, как старый бородач, поздравлю его. Ах, если бы вы его знали, г. Пакотт! Вот человек, который не выносил больных! Он, конечно, не был бы

хорошим врачом, что и говорить! Но что за фигура! Представьте себе, однажды, когда люди отправились с жалобой к майору, он собрал нас на открытом воздухе при 12 градусах мороза и назначил нам свое лечение, как он говорил. У одного был флюс,—его он отправил на кухню, раздувать огонь. У другого был бронхит,—его он назначил на водяную повинность. И верьте мне или не верьте, это нас вылечило и даже лучше, чем ипекакуана, которую прописывал наш доктор.

— Арсен,—вскричала Мари, в ушах которой еще звучали слова врача,—тебе вредно столько разговаривать, ты задыхаешься!

— Главным образом его надо было видеть на маневрах,—опять начал он своим слегка свистящим голосом.—Тогда уже совсем не было нам покоя даже на стоянке. А когда мы входили в деревню с музыкой во главе и со всем скарбом на спине, вот надо было его видеть... А на фронте, мой друг! Там это был человек, изрыгающий пламя!

— Умоляю тебя,—снова начала Мари.—Успокойся!

— Что такое, что стобою?—рассердился он наконец.—Если я отставной, это еще не значит, что на меня нужно смотреть, как на больного.

И он продолжал говорить с еще большим жаром.

Она смотрела на него с ужасом. Теперь, при свете сделанного ей страшного разоблачения, она его увидела таким, каким он был на самом деле, с его жалким телом, сжигаемым чахоткою, с его дрожащими жестами и этой видимостью жизни, которая была в сущности только результатом лихорадки, со всей этой безжалостной, точившей его болезнью, изменившей, казалось, самую его душу!

Сколько времени еще проживет он?

И она со смертельной тоской спрашивала себя, успеет ли она в короткий срок, который ему еще остается жить, дать ему все то счастье, которое он заслужил такими долгими страданиями.

Пока она так смотрела на него, он уловил на ее лице отражение бесконечного, раздиравшего ее горя.

— Полно, малютка,—сказал он ей,—мне кажется, ты огорчаешься тем, что тебе наговорил этот ветеринар!

— Уверяю тебя, Арсен, что я нисколько не огорчаюсь. И почему мне, в конце концов, мучиться, если у тебя не больше, как легкое переутомление!

— Даже никакого переутомления! Обрати прежде всего внимание на мою грудную клетку! Она прочна, как будто сделана из дуба. И потом, раз человек пережил то, что я пережил, то ничего уже не страшно. Слышишь—ничего!

И Мари понесла свой крест, стараясь, чтобы на губах ее была все та же улыбка.

Утром она позволяла ему работать вместе с нею в магазине, чтобы ему казалось, будто он еще приносит пользу.

Потом, после завтрака, она отправляла его на прогулку в сквер Сен-Пьер, где он на солнышке грелся в обществе раненых.

Арсену посчастливилось встретить там аббата Лансона, знакомого ему по склепу, в котором они оба укрывались во время адской бомбардировки Вердена.

Частенько тот приходил с ним в магазин.

Мари всегда была рада его видеть; для нее, в ее скорби, он, в самом деле, был большою нравственною поддержкою.

И Лансон, чувствуя это, приходил возможно чаще побеседовать с нею.

К несчастью, торговля шла очень плохо.

В горе своем Мари забыла припасти кое-какой товар и еще потеряла покупателей.

Теперь она уже несколько раз пропустила срок уплаты Дюфурам.

И Эскартфиг все учащал свои посещения.

Он старался приходить по преимуществу в те часы, когда Арсен был в сквере.

Теперь он производил свои розыски с такой же жестокостью, как некогда в казармах, когда накануне инспекторского смотра он перебежал из одного помещения в другое, разбрасывая чемоданы, роясь под кроватями, опрокидывая каждый тюфяк. Он уже не знал, что выдумать, чтобы отомстить ей за причиняемые убытки.

Так, однажды он принялся вышучивать ее потому, что накануне, в воскресенье, ее встретили в Булонском лесу катающей своего мужа по Аллее Акаций в открытой коляске, при чем ноги у него были укутаны шерстяным одеялом.

Он уверял, что об этом много болтали во всем квартале. Понятно, конечно, говорил он, что женщина может быть внимательна к своему мужу; но находили почти неприличным быть влюбленной до такой степени!

В другой раз он дошел, наконец, до того, что принялся упрекать ее в том, что теряет время из-за нее!

И вот в один прекрасный день, когда он явился позже обыкновенного и скоропалительно принялся составлять опись всего имевшегося в магазине товара, вошел Арсен.

Тот казался очень веселым.

— Счастлив, что застал вас, г. лейтенант,—сказал он, похлопывая Эскартфига по плечу.—Хотя мы и не сделали вместе кампании, мне всегда очень приятно

встретиться с вами. Знаете, что было бы очень хорошо? Было бы очень хорошо, если бы мы познакомились под Верденом, в этом урагане, потому что мы были бы теперь на ты.

— Да он пьян!—вскричал Эскартфиг, сбрасывая плечом руку, которою тот было оперся о него.

Арсен, действительно, был слегка под хмельком. Он встретил в сквере Сен-Пьер отставного военного, из отряда, стоявшего рядом с ним в Шампани, и тот затасил его к виноторговцу. Двух стаканов белого вина, выпитого на ходу, было достаточно, чтобы привести его в это состояние.

— Что, он каждый вечер возвращается выпивши?—спросил Эскартфиг у Мари.

— Мы не проделали вместе Вердена, и я очень сожалею об этом,—продолжал Арсен, который, казалось, не слышал ничего...—Но, знаете ли, достаточно вместе пропустить стаканчик, чтобы сразу стать старыми приятелями.

— Арсен!—умоляла Мари.

— Нет, позвольте, я поговорю с ним,—заскрежетал зубами Эскартфиг.—И теперь, смею вас уверить, он меня выслушает. Так вот, как вы проводите время, мой милый!.. Вас женят, вас устраивают, и вот вся ваша благодарность. Да, я не ошибся, когда говорил Матильде, что вы просто дармоед.

— Что такое вы там говорите?

— Я только говорю, что правильно оценил вас. Вы уже несколько раз надули нас с уплатой...

— Г. Эскартфиг,—перебила его Мари,—вы не имеете никакого права сомневаться в нашей честности.

— Повторяю, что вы уже несколько раз надули нас. Но теперь я заявляю, что если до конца месяца вы не рассчитаетесь с нами, я подыщу заместителя.

— Ну, это положим!—подскочил Арсен.

— А что касается ваших отговорок насчет дороговизны, общих расходов и прочего вздора, то рассказывайте дуракам эти сказки.

И прежде чем Арсен пришел в себя от оцепенения, Эскартфиг захлопнул за собою дверь и вскочил в ожидавший его на улице таксомотор!

Когда Арсен протрезвился, он, вспоминая эту сцену, дрожал от возмущения.

Сначала он хотел бежать за Эскартфигом, чтобы потребовать у него удовлетворения за его грязные оскорбления.

Затем, когда Мари удалось успокоить его, он принял другое решение. Он решил пойти завтра же к Дюфур и просить его разобрать это положение.

Дюфур был человек глубоко справедливый, который, без сомнения, согласится прочесть своему зятю нотацию, которую тот вполне заслужил.

* * *

Арсен застал своего старого хозяина в кабинете; он сидел и писал своим крупным, неразборчивым почерком на листе писчей бумаги.

Время от времени он поднимал голову: тогда взгляд его встречался со взглядом Арсена, но он был так углублен в свое занятие, что даже не видел его.

— Я тебя слушаю, мой друг,—сказал он наконец, через некоторое время, заткнув за ухо гусиное перо.

Тогда Арсен слегка дрожащим голосом изложил ему цель своего посещения.

— Что это такое?—сказал Дюфур с жестом человека, действительно надрывающегося над работой, которого тревожат из-за пустяков...—Да что это такое?..

Эскартфиг... Ваши платежи... Магазин... Разве тебе не сказали, что я пишу речь?

— Я не знал.

— Речь к открытию моего памятника Павшим.

Арсен понял тогда, как непростительно бесцеремонно он поступил. Но тут же он сообразил, что, если не вооружится смелостью, все пропало. Мысль вернуться домой, не одержав верх, сводила его с ума. И перед ужасной угрозой снова попасть в лапы к Эскартфигу, подвергнуться новым выходкам с его стороны, им овладела дикая решимость.

— Г. Дюфур,—сказал он внезапно окрепшим голосом.— Сейчас я изложил вам свои жалобы. А теперь я вполне отдаюсь в ваши руки. Я не хочу выйти отсюда раньше, чем вы выскажете свое решение. Я не прошу вас о снисхождении. Я полагаюсь на вашу справедливость.

Лицо Дюфура сейчас же прояснилось.

Эта горячая мольба имела счастье понравиться ему. Эта роль судьи льстила его гордости.

— Раз ты взываешь к этому чувству, дитя мое, я могу уверить тебя, что ты не будешь разочарован.

И он зашагал по кабинету, заложив за спину руки и быстро вращая, между пальцами, перо.

— Решено,—сказал он, после кратковременного размышления.—Я поговорю с Эскартфигом. Он умен. Он поймет, что значит, когда я предостерегаю. Я поговорю с ним с достаточной строгостью, потому что я не могу допустить, чтобы близ меня совершалась несправедливость.

Арсен понял, что бесполезно было бы прибавить еще хоть слово. Г. Дюфур обязался своей честью. А все знали, чего стоила честь Дюфура!

Но тот снова уже принялся за работу.

В тишине слышалось только скрипение о бумагу гусяного пера.

Боясь прервать его вдохновение, Арсен не смел даже попросить у него разрешения удалиться.

Между тем, минутой спустя он заметил, что г. Дюфур не пишет уже больше, а только обводит чернилами точки и запятые.

— Разрешите мне откланяться?—решился он спросить.

— Ты знаешь, что я пишу здесь?—спросил Дюфур, положив перо.

Арсен почтительно приблизился.

— То, что я пишу здесь, это моя речь... речь, которую я произнесу при открытии памятника, которого я состою председателем, инициатором и, могу сказать, единственным жертвователем, памятника, который я ставлю павшим в Великую войну.

— Какой это будет, вероятно, чудный образчик красноречия!

— Красноречие теперь не ко двору, дитя мое. Эта речь будет нечто большее, чем упражнения в риторике. Я желал, чтобы она была документом!

— Горю нетерпением услышать ее, г. Дюфур...

— Ну, что же, не буду испытывать твое любопытство. Я бегло изложу тебе содержание и даже прочту кое-какие отрывки... Ты будешь публикой... бесчисленной толпой, которая слушает, трепещет и судит... Итак, я взял себе темой павших!.. Ты понимаешь меня, не правда ли! Всех павших!.. Всех тех, кто уже умер и кто завтра умрет... И в вдохновенном порыве я их всех призываю... погоди, это там, на третьей странице... Я их ссылаю для того, чтобы они продиктовали нам, живущим, наш долг, и говорю с ними... Для этого я просто стану на цоколь памятника, возле окутанной покрывалом женщины, олицетворяющей горе, и буду говорить без особенного блеска, без лишних жестов, серьезным тоном, сообщая моему слову только

трепет моей души... Я не знаю, ясно ли ты представляешь себе эту сцену: горе—вот здесь, налево; я, олицетворяя долг, совесть—направо!

— Это будет великолепно!—вскричал Арсен.

— Не правда ли?.. Подумай, что я вас всех призову, всех павших, вы все будете тут, в дуновении моего голоса... Не могу прочесть тебе всей моей речи. Но я прочту тебе заключительные слова... Слушай:

«Клянусь перед Павшими, которые здесь присутствуют, перед этими оживающими в нас мертвецами, что жертва их была не напрасна. Клянусь...»

Но в эту минуту рабочий, с кожаным мешком на спине, похожий с виду на паяльщика, приоткрыл дверь.

— Чего вам надо?—вскричал в бешенстве Дюфур.

— Я пришел насчет отопления в ванной. Хозяйка телефонировала к нам, в магазин...

— Но вы же видите, что вы ошиблись комнатой. Мой кабинет—не ванная, чорт побери! Это поразительно!

Затем, заперев за рабочим дверь, он вернулся к Арсену и закончил чтение.

— А теперь,—прибавил он,—я хочу попросить тебя о маленькой услуге.

Арсен вытянулся, как солдат на своем посту.

— Я лишился моего секретаря, который был, кажется, журналистом и искалечен на войне. У него как будто опять открылась рана. Не можешь ли ты заменить мне его недельки на две? Я платил ему сто пятьдесят франков.

— Помилуйте, г. Дюфур!—запротестовал Арсен.

— Пусть будет так. Я сказал это на всякий случай. В отношении нас с тобой это вопрос, не имеющий значения. Мы работаем для Идеи. Но теперь, видишь ли, у меня столько дела! Не знаю, как управиться. И потом,

больше всего ты мне нужен будешь в день торжественного открытия. Подумай-ка, что ждет меня в этот день. Мне невозможно будет уследить за всем. Мне придется пожать, может быть, триста рук, почему я знаю! И потом, хотя бы только бумаги... мне непременно нужно кого-нибудь, кто носил бы мой портфель.

— Не беспокойтесь, г. Дюфур.

— А чтобы вознаградить тебя за твои услуги, я постараюсь выхлопотать тебе академические пальмы.

— О, я этого не заслуживаю.

— Что касается меня, то я тебе прямо скажу, что ожидаю ни больше, ни меньше, как орден Почетного Легиона. Впрочем, мне его формально обещали.

— Как вы меня радуете, сообщая об этом. Давно уже вам следовало получить его.

— Не правда ли, хотя бы уже как благотворитель, даже оставляя в стороне личные заслуги.

— Еще бы!

Тогда Дюфур раскрыл окно и указал Арсену на вышавшуюся, как раз против виллы, посреди маленькой площади, постройку из досок, под сенью которой работали над возведением знаменитой группы.

— Это я выбрал место,—сказал он.—Таким образом, он всегда будет у меня перед глазами. Мне достаточно будет поднять голову, когда я сижу за письменным столом, чтобы его увидеть. И это зрелище, в трудные минуты, меня ободрит и вдохновит.

— Скажите, если не секрет, что изображает памятник?

— Укутанную женщину, плачущую над смертельно раненым солдатом, рука которого судорожно сжимает еще ствол ружья.

— Прекрасная идея!

— Это, собственно, моя идея, но скульптор с радостью воспользовался ею,—прибавил Дюфур.

Затем он, прищурив глаз, взглянул неожиданно на леса и сделал какой-то странный знак рукою, словно приказывал переместить их немного вместе с группой, которую они покрывали.

— Мне, пожалуй, следовало бы поместить его несколько правее,—сказал он,—чтобы он был прямым продолжением большой аллеи и решетки. Тогда бы у нас был более целостный вид.

— Может быть.

— Ах, и ты так думаешь... Да, верно, немножко правее... Немножечко!.. А впрочем, все равно... Все-таки, будет недурно... Что поделаешь, не обо всем во-время подумаешь... Впрочем, теперь уже поздно. Ничего не поделаешь... Слишком поздно!

— Очевидно.

— Ну, так вот,—сказал он,—с завтрашнего дня я рассчитываю на тебя, ты поможешь мне подготовить это великое дело.

Арсена словно наэлектризовали.

За всю свою жизнь он мог припомнить только один столь же прекрасный миг. Это было, когда он слышал пламенную речь генерала, который за несколько дней до того, как пустить их в атаку на маленькую, прекрасно укрепленную позицию, заехал к ним в автомобиле.

С этого дня Арсен посвятил остаток своих сил на службу Дюфур.

Мари сначала пришла в ужас. Но он расходовал себя с такой радостью, деятельность эта поддерживала в нем такую иллюзию жизни и здоровья, что она предоставила ему делать, что он хочет.

С утра до вечера он бегал по Парижу: то к скульптору, то к плавильщику, то к членам Учредительного Комитета, то к еще более важным членам Почетного Комитета.

Случалось, что он сопровождал Дюфура, дававшего ему нести портфель и пальто.

В эти дни он жил в лучах своего учителя, питался его словом!

Вечером, вернувшись в скобяной магазин, он принимался говорить об этом необыкновенном человеке, он старался повторять малейшие его слова, воспроизводить его жесты, подражать его мимике.

Пока он увлекался этой игрой, ему казалось, что он чувствует прикосновение руки Дюфура, который завел привычку, идя рядом с ним, опираться о его плечо.

Но не прошло и недели, как у Арсена снова началось кровохаркание.

Мари тотчас же уложила его в постель, и на следующий день он чувствовал такую слабость, что ей не стоило большого труда уговорить его не вставать.

Теперь он совершенно изменился. Нос его стал почти прозрачным. Глаза, слегка вышедшие из орбит, казались больше. Это глубокое изменение его лица сообщало ему странный вид, производивший сильное впечатление.

Мари поняла, что конец близок.

Впрочем, Арсен покорно не выходил из комнаты.

Казалось, он забыл, что Дюфур пригласил его к себе в секретари.

Его ослабевшая память удержала из всего этого дела только число, на которое назначено было торжественное открытие.

Церемония эта занимала все его мысли. Он даже во сне видел ее.

И, не говоря ни слова Мари, он считал дни, еще

отделявшие его от этого празднества, на котором он поклялся быть во что бы то ни стало.

И вот случилось, что в утро этого знаменитого дня, выпавшего на воскресенье, такое оцепенение овладело им, что он, не спав всю ночь, занятый мыслями о событии, не мог противостоять сну.

В полдень, когда он еще спал, Мари на цыпочках вышла из комнаты, чтобы приготовить, в помещении за лавочкою, завтрак.

Но в то время, как она пила кофе, радуясь при мысли, что он, наконец, отдыхает, Арсен проснулся наверху.

Взгляд его остановился на портрете Дюфура, висевшем над его кроватью и отражавшемся в зеркальном шкапу; тогда он, по внезапной ассоциации идей, вспомнил, что сегодня день открытия.

Он мигом сел на кровати.

Часы показывали четверть второго.

Тогда он, как сумасшедший, вскочил, торопливо оделся и выбежал на улицу по черной лестнице, чтобы не встретить Мари, которая удержала бы его.

Поезд, в который он сел, чтобы ехать в Коломб, казалось ему, шел бесконечно долго.

Он боялся опоздать.

Он думал о всех распоряжениях, которые Дюфур отдал ему насчет певческого общества, завтрака и сигар.

Еще он вспомнил, что Дюфур особенно настаивал на том, чтобы, за несколько минут до его выступления, ему приготовили яичный желток для прочищения голоса.

«Только бы этого не забыли!» сказал он про себя.

Потом он заметил, что небо покрылось тучами. И это явилось для него новым предметом беспокойства,

Когда он, наконец, запыхавшись, прибыл на маленькую площадь, где возвышался памятник, Дюфур уже говорил.

— Павшим на Марне, чье самопожертвование спасло нас от позорного рабства,—декламировал он в эту минуту,—тем, кто покоится в болотах Фландрии, в меловой грязи Шампани, тем, кого под Верденом пожрало море огня...

Но публика больше смотрела на небо, чем на оратора. Над головами, в самом деле, нагромождались тяжелые черные тучи. Женщины, боясь за свои светлые туалеты, перебрались со стульев на площади на скамейки трибун.

— Слава и бессмертие вам, павшие герои, чьи громкие голоса диктуют нам наш долг, слава и бессмертие!..

Капли, величиною в пятифранковую монету, закалились сверху. Потом это стали уже не капли, а аллебарды.

И пока Дюфур говорил и голос его терялся в однообразном шуме ливня, поднялась всеобщая суматоха.

Сюртук его, в этом потоке, висел на нем, как вымокший капот. При каждом жесте он разбрасывал снопы воды.

Время от времени прибегала какая-нибудь дама с зонтиком, умоляя своего мужа, чтобы он укрылся от дождя.

И скоро перед оратором стоял только один несчастный Арсен, продолжавший стоически слушать и аплодировать, сознавая, что исполняет тот же долг, что некогда в окопах, под градом снарядов.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дюфур не получил ордена!

Он столько трудился, истратил столько денег лишь для того, чтобы увидеть, как украсят академическими пальмами членов его комитета, а он сам со всего этого дела пожнет только горьчайшее из разочарований.

На следующий день после этой церемонии, как только он проснулся, он почувствовал себя таким подавленным, что не имел сил подняться с постели.

Печально лежал он в кровати; великолепное лицо его все отекло со сна.

Положив лениво руки на одеяло, он следил неподвижным взглядом за обойщиками, снимавшими драпировку с трибун, возведенных на маленькой площади, когда в комнату вошла г-жа Дюфур.

— Как ты себя чувствуешь?—спросила она, по матерински наклонившись к нему, при чем у нее на лбу зашевелились папилы, которые она каждый вечер устраивала себе из газетной бумаги.

— Чувствую слабость,—ответил он.

— Ну, тогда оставайся в постели, а я займусь твоим туалетом. Хочешь, я для начала вытру тебе руки и лицо одеколоном?

— К чему?

— Как это к чему?.. Ты не получил ордена, это правда. Но это еще не причина, чтобы не умываться. Ты же не можешь оставаться вот так.

— А, чорт возьми, имею же я право питать ко всему отвращение!—вздыхнул он, выронив из рук оправленное в слоновую кость зеркальце, в которое он разглядывал свой язык.

— Полно, полно, не давай снова разыгрываться неврастении. Возьми себя в руки, или я пошлю за врачом.

— Нет, нет, только не за врачом! Мой случай его не касается! Я страдаю, скажи ему, только безграничным отвращением. И это отвращение моральное!

— Во всяком случае ты поешь,—сказала она, взяв из рук вошедшей горничной большой поднос, на котором находились чай, молоко, масло и два яйца в смятку...

Тогда Дюфур позволил усадить себя на подушках.

— Подумав,—сказала жена,—я нахожу, что тебе лучше не пить чаю. Чай очень ослабляет. Я лучше велю подать тебе немного бордо, которое ты проглотишь вместе с яйцами.

— После всего, что я сделал,—внезапно вскричал Дюфур,—после всех этих благотворительных учреждений, всех обществ взаимопомощи, связанных с моим именем, я никогда не ожидал такой неблагодарности от министра. В этих условиях, признаюсь, мне невозможно продолжать борьбу. Я предпочитаю отказаться!

Вполне соглашаясь с ним, г-жа Дюфур старалась заставить его проглотить второе яйцо.

— Когда я подумую,—продолжал он,—что дали орден каким-то Марандонам, Дювалям, Бутийе, целой куче неизвестных!

— И что мы истратили,—вдохнула в свою очередь г-жа Дюфур,—более пятидесяти тысяч на этот памятник!..

Так глупо, можно сказать... словом, задаром... совсем задаром!

В эту минуту затрещал стоявший на ночном столике телефон.

Вошедшая в комнату Матильда взяла трубку.

— Тебя спрашивают, папа, из министерства внутренних дел.

— Из министерства внутренних дел!—взвыл Дюфур...— Это насчет ордена... Ни из-за чего другого!.. Давай, давай же поскорее!

И в своей поспешности он опрокинул на г-жу Дюфур поднос, при чем масло и яичная скорлупа очутились у нее на платье.

— Я Дюфур,—закричал он в аппарат...— Не вешайте трубки... Да, Дюфур самолично... Что нужно? Алло... алло!

— Да это курьер,—объяснила Матильда.—Ему просто поручили сказать тебе, что г.Гийоме просит тебя приехать в министерство по экстренному делу.

— Ты сказала Гийоме... мой друг Гийоме?

— Да... тот, который явился на открытие, как представитель министра.

— Значит, верно. Я не имею больше права сомневаться!.. Пожалован!.. Пожалован!.. Я пожалован!..

Как сумасшедший, выскочил он в одной рубашке из постели.

— Кальсоны! Носки!.. Да помогите мне! Помогите же!.. Велите шофферу сейчас же подать машину... И пусть наденет свой новый, бежевый костюм. А сейчас мне надо побриться... Впрочем, нет, мне некогда. По-моему, этим лакомым кусочком я обязан моей речи. Да нет же, нет, не надо цветного галстука! Надо же иметь немножко мозгов, чорт возьми! Не могу же я туда явиться в цветном галстуке... Дайте мне белый,

пикейный галстук. Я полагаю, что красноречивые отчеты прессы тоже произвели на них впечатление.

И он побежал к ночному столику, на котором стопкой лежали многочисленные вырезки из «Аргуса», которыми он победно потряс, а г-жа Дюфур последовала за ним, чтобы застегнуть ему на спине гигиенический кушак.

.....

Не прошло и часа, как Дюфур выходил из министерства внутренних дел, где он видел своего друга Гийоме.

Его грудь распирала такая гордость, что, действительно, ему казалось, что она расширилась.

Выйдя на площадь Бово, он совсем забыл, что у двери его ожидал автомобиль.

Возбужденный энтузиазмом, он двигался по прямому направлению, словно чья-то рука толкала его в спину.

Ему безумно хотелось останавливать прохожих, собирать их вокруг себя и рассказать им, что он—кавалер Почетного Легиона, громко кричать им о своей радости. Он чувствовал в эту минуту такую силу дыхания в груди, что мог бы заставить слушать себя и десяти тысячную толпу.

За неимением лучшего он смотрел людям в глаза и дружески улыбался им. Он смотрел и улыбался им так мило, что некоторые воображали, что он знает их, и на всякий случай кланялись ему.

И он отвечал на их поклоны.

Тем не менее он никому еще не мог сказать, что пожалован орденом.

Он спрашивал себя, перед кем же он мог бы похвастать счастливым событием, как вдруг услышал, что его зовут.

— Г. Дюфур!.. Г. Дюфур!..

То был шоффер, который, увидев, что он, погрузясь в мечты, удаляется, пустился его догонять.

— Жозеф,—объявил он ему тогда, радуясь представившемуся случаю,—ты видишь перед собою человека, которому остается только прорезать перочинным ножиком петлицу у себя на сюртуке. Я кавалер Почетного Легиона!

— Отлично, г. Дюфур,—просто ответил Жозеф.—Но если я позволил себе догнать вас, это для того, чтобы узнать, хотите ли вы задержать меня, потому что машина нужна сегодня барыне, чтобы ехать на завод.

— Так ты, значит, не слышал меня?

— Простите, г. Дюфур, почтительнейше поздравляю вас... Только г-жа Дюфур приказала мне приехать за нею сейчас же после завтрака, также и за г. Полем.

— Сегодня нет завтрака, нет г. Поля. Сегодня нет никого, кроме меня.

Жозеф поклонился, надел свою каскетку и взлез опять на свое место.

Дюфур понял тогда, что этот человек не способен проявить большого интереса к его успеху.

А он весь дрожал от безумного нетерпения.

Он чувствовал, что ему сейчас же нужно рассказать кому-нибудь о своем торжестве, что каждая уходящая минута лишает его целого потока опьяняющих слов, выражений восхищения, поздравлений, подкрепленных горячими рукопожатиями. Он чувствовал, что теряет единственные в своем роде минуты.

— Да... но куда итти?... К кому спешить?..

Жена и зять его собрались на завод. А он по опыту знал, что там не так легко отвлечь их внимание.

Его друзья! Мысленно он перебрал их всех.

Марженго с утра до вечера бегаёт по делам. Вердие путешествует. Муken живет у чорта на куличках... в Сен-Манде. У Мерсеро недавно родила жена.

— Не можете ли сказать мне, сударь, куда мы поедём?—спросил Жозеф, наклонившись со своего сидения.

— Подождите... подождите!.. Сейчас скажу, вот чорт!

Вдруг, озаренный неожиданным вдохновением, он крикнул:

— Поезжайте на улицу Клиньянкур!

И он вскочил в автомобиль.

Как это в самом деле он сейчас же не вспомнил об этом славном Арсене? Разве он не знал, что новость эта доставит ему огромную радость? Разве прежний приказчик его не та аудитория, о которой он мечтает?

Когда автомобиль остановился у скобяной лавки, он был немного удивлен, не найдя в ней никого. Но когда он собирался подняться наверх, он увидел на площадке лестницы вышедшую из комнаты Мари.

— А, вот вы!—вскричал он.—Наконец-то я нашел хоть кого-нибудь!.. Скажите Арсену, чтобы он пришел... Скорей... скорей... У меня большая новость для него, он, конечно, отчасти ждет этого, но тем не менее она доставит ему огромную радость.

— Арсен умер!—прорыдала, Мари, упав на стул.

Но Дюфур так увлечен был желанием сообщить кому-нибудь о своем успехе, что даже не слышал, что ему сказали.

— Арсен!—кричал он, опершись рукою о перила.—Сойдите сейчас же! Я получил орден... Арсен! Да, да... Я везу вас и Мари завтракать... Скорей, торопитесь... Я вам расскажу все это... Не ищите шляпы... Она здесь, на столе... И потом, спускайтесь в таком виде, в каком вы есть, это неважно.

— Арсен умер!—глухо повторила Мари.—Говорю вам, он умер!

— Как? Что это за история? Да этого не может быть!

Мари раздвинула руки, которыми она закрывала лицо, и он увидел, что по щекам ее текут слезы.

— Я, конечно, знал, что он немножко нездоров,— прибавил он голосом, в котором сквозило легкое разочарование,—но от этого до смерти... Скажите же мне, как это случилось?

— Давно уже дело было плохо, г. Дюфур. Я знала, что он осужден. Но никогда не думала, что конец уже так близок. Вчера, когда он вернулся с этого открытия, ему стало худо. Когда я его раздевала, чтобы уложить в постель, он стал ужасно задыхаться. Ему не хватало воздуха. Но как только у него явилась возможность хоть немного говорить, он стал меня успокаивать, сказал, что это нервы, что с того времени, как его закопал этот снаряд, с ним это довольно часто повторяется. Он даже утверждал, что чувствует себя лучше. Но я скоро поняла, что он начинает бредить. Он говорил о своей торговле, о платежах... Потом стал говорить о вас.

— Ах, славный малый!.. А что же он говорил обо мне?.. Держу пари, он беспокоился о моем ордене.

— Да, г. Дюфур, он говорил и об этом, и о вашем памятнике Павшим, и о вашей речи...

— Он так любил меня, этот славный Арсен!

— С рассветом у него началась агония. Когда я хотела приподнять его, чтобы дать ему лекарство, он так посмотрел на меня, что я поняла, что он устремил на меня последний взгляд. И действительно: тут же глаза его закатились... Ах, г. Дюфур!.. г. Дюфур!..

Она заглушала свои рыдания платком, насквозь промокшим от слез, а плечи у нее дрожали мелкой дрожью.

— Полно, полно, дитя мое,—сказал тогда Дюфур,

прижимая ее к груди,—нужно взять себя в руки... Ведь вы сами сейчас сказали мне, что он был осужден. Значит, это избавление как для него, так и для вас... Скажите себе еще, что, хотя смерть настигла его не на поле брани, он все же умер славной смертью и что он прямо попал в рай храбрецов, не стуча! А теперь я вас оставляю. Мужайтесь, дорогое дитя мое, мужайтесь!

— Не желаете ли взглянуть на него прежде, чем уйти, г. Дюфур?

— Позвольте мне отложить еще не надолго это потрясение... Когда вы положите его в гроб?

— Завтра, часов в десять утра.

— Ну, хорошо; обещаю вам, что завтра рано утром приеду к вам со всеми своими. А об остальном не беспокоиться. Я беру все на себя.

Он по-отечески проводил ее до первых ступенек лестницы.

Но как только она исчезла, он подошел к телефону.

Утешая Мари, он, в последнюю минуту, не мог удержаться, чтобы не подумать о том, что Мукен, его старый друг Мукен, наверно дома, на своей вилле в Сен-Манде. Ему оставалось только позвать его к аппарату. И он мог бы таким образом излить хоть немножко своей радости, которая, в конце концов, давила его, как страдание.

Он, насколько мог, заглушил голос, прося соединить его, чтобы Мари наверху не услышала его.

К несчастью, ему ответила горничная, сообщившая, что г. Мукен отправился с женою на гигиеническую прогулку в Венсенский лес.

Он стоял растерянно, как вдруг по ту сторону улицы увидел Пакотта на пороге его бельевого магазина.

Лицо его сейчас же прояснилось!

Подумать только, что который час уже он гоняется за людьми неувидимыми, когда у него здесь, под боком, все его старые друзья: Пакотт, Тардые, Белиар и другие, вся улица Клиньянкур, наконец, где он жил почти тридцать лет и где все его знают!

И он устремился на улицу.

Но так как он не дал себе времени запереть за собою входную дверь, то задетый ею электрический колокольчик принялся безостановочно трещать в магазине.

Обезумевшая Мари сбегала с лестницы.

И, запирая дверь, она увидела, как Дюфур удаляется, окруженный группой старых своих поклонников. Дюфур ораторствовал, как некогда, держа шляпу в руке, а серебристая грива его блестела над всеми головами.

Потом она видела, как они все вошли в «Коммерческое кафе».

* * *

В тот же вечер Мари получила от г-жи Дюфур огромный букет белых роз.

Она разложила цветы в виде креста на одеяле, прикрывавшем исхудалые останки Арсена.

У нее была такая потребность сосредоточиться, уединиться в своем страдании, что она отказалась от предложения соседки провести ночь с нею.

Она провела всю ночь, прижавшись к этой постели, опершись лицом о ледяную руку своего бедного Арсена, погрузившись душою в мир мечтаний и воспоминаний.

Дюфур, как обещал, явился на следующее утро около девяти часов с женою, дочерью и зятем.

В петлицу сюртука он вдел ленточку ордена Почетного Легиона.

Несколько соседей подошло к нему в магазине, и он не пошел за своими наверх, в комнату, где лежал покойник. Он захотел объяснить своим друзьям, которые были рады его обществу, обстоятельства смерти Арсена; потом, незаметно, он подзадорил себя до того, что стал им рассказывать о сражениях, в которых принимал участие бедный малый, как вдруг его перебила, спускавшаяся с лестницы в сопровождении Эскартфига, г-жа Дюфур.

— Знаешь, — сказала она ему, — я велела принести сюда другой гроб вместо заказанного Мари. Гроб, который я выбрала, дубовый, весь выложенный свинцом, с серебряными ручками. Только... вот.

— Только что? — перебил Дюфур с легким оттенком нетерпения в голосе.

— Он слишком тяжел и потом очень, очень велик... И я не знаю, можно ли будет пронести его по этой лестнице. Ясно, что это было бы проще всего.

— Ну, конечно, по этой лестнице, потому что она ведет прямо в комнату.

— А я вспоминаю, как трудно нам было поднимать туда зеркальный шкаф. Ведь нельзя же снимать перила.

— Пусть тогда понесут его по другой лестнице... Нам это не запрещено, чорт возьми!

В это время мальчик-рассылный принес и положил на конторку пакет, который Дюфур поспешно развернул.

То был большой трехцветный покров, в который он хотел завернуть тело Арсена.

— Теперь, — сказал он, — я последую за вами наверх. Но едва он открыл дверь комнаты, где лежал покойник, как замер на пороге, остоленев.

Он в первый раз видел мертвеца, так как до сих

пор жена, щадя его слишком чувствительную натуру, избавляла его от зрелища нашего уничтожения.

И глаза его не могли оторваться от Арсена, от этой жестоко изменившейся маски, которой он не узнавал.

Но пока он поглощен был этим созерцанием, он почувствовал, что его касается чья-то рука, как бы желая тихонько отстранить его.

Не без легкого испуга оглянулся он и увидел перед собою солдата, просившего его о позволении пройти в дверь.

То был аббат Лансон, которому Мари дала знать о смерти Арсена. Аббат приблизился к постели и прошептал «De profundis».

Затем, подняв над жалкими останками благословляющую правую руку с изуродованными пальцами, он более громким голосом произнес священные слова:

— *Requiescat in pace.*

Тогда все опустили головы, все за исключением Дюфура, который не двинулся с места и продолжал смотреть на Арсена расширенными, от безумного ужаса, на бледном лице, глазами.

Конец

Перевела с французского

Э. Л. Вейнбаум

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР
Предисловие <i>А. Барбюса</i>	7
Глава первая	9
„ вторая	31
„ третья	48
„ четвертая	61
„ пятая	89
„ шестая	101
„ седьмая	111
„ восьмая	131
„ девятая	149
„ десятая	173
„ одиннадцатая	184
„ двенадцатая	205
„ тринадцатая	226
„ четырнадцатая	246

ПРОПУСКИ НА СТРАНИЦАХ 205, 213 и 223 ОБЪЯСНЯЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ФРАНЦУЗСКАЯ ЦЕНЗУРА В СВОЕ ВРЕМЯ НЕ РАЗРЕШИЛА К ПЕЧАТАНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСТ ОРИГИНАЛА.

Ред.



„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Г. д'Аннуцио — „Ноктюрн“, ц. 1 р.
 П. Бенуа — „Атлантида“, роман, ц. 60 к.
 — „Дорога гигантов“, ц. 75 к.
 Г. Бергстедт — „Александрсен“, ц. 1 р. 75 к.
 — „Праздник Йоргена“, ц. 90 к.
 А. Боро — „Страдания толстяка“, роман, ц. 50 к.
 С. Вржозовский — „Зарево“, роман из эпохи народо-
 вольцев, ц. 1 р. 25 к.
 Ф. Верфель — „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
 К. Гамсун — „Соки земли“, роман, ц. 65 к.
 Г. Гауптман — „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
 П. Гзелль — „Беседы А. Франса“, ц. 70 к.
 О. Генри — „Рассказы“, ц. 1 р.
 — „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к.
 Р. Гольст — „Лирические драмы“, ц. 45 к.
 Ж. Дюамель — „Полуночная исповедь“, ц. 75 к.
 С. Лагерлев — „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
 Р. Маран — „Батуала“, африканский роман,
 ц. 45 к.
 К. Мейринк — „Голем“, роман, ц. 70 к.
 М. Маркс — „Женщина“, роман, ц. 50 к.
 М. Матерлинк — „Белая невеста“, пьеса, ц. 40 к.
 Дж. Мэйзфилд — „Пьесы“, ц. 60 к.
 Папалаги — „Ц“, ц. 30 к.
 Дж. Папини — „Конченный человек“, ц. 1 р. 20 к.
 Ж. Ромэн — „Доногоо-Тонка“, кинематографиче-
 ский роман, ц. 25 к.
 Р. Роллан — „Кола Бренъон“, роман, ц. 70 к.
 — „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к.
 — „Клерамбо“, роман, ц. 1 р.
 — „Аннетт и Сильвия“, роман, ц. 55 к.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

- Дж. Синг — „Герой“, пьеса, ц. 55 к.
 Э. Синклер — „Сто процентов“, роман, ц. 75 к.
 — „Ад“, ц. 75 к.
 Струг — „Деньги“, 1 р. 40 к.
 Г. Уэллс — „Неугасимый огонь“, роман, ц. 40 к.
 Ф. Унру — „Драмы“, ц. 1 р. 10 к.
 А. Франс — „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к.
 Л. Франк — „Человек добр“, роман, ц. 30 к.
 Л. Фульда — „Тень осла“, ц. 80 к.
 К. Штернгейм — „Четыре новеллы“, ц. 50 к.
 Б. Шо — „Назад к Мафусаилу“.
 К. Эдшильд — „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
 — „Тимур“, рассказы.
 Экспрессионизм — Сборник статей, с иллюстрациями,
 ц. 1 р. 40 к.

СЕРИЯ ДЕТСКИХ КНИГ:

- „Английские детские песни“, пересказ С. Маршака, много-
 красочн. рисунки худ. В. Конаше-
 вича, ц. 1 р.
 В. Гауф — „Сказки“, с рис. худ. Ю. Черкесова,
 ц. 1 р. 10 к.
 Д. Дефо — „Робинсон Крузо“, сокращ. изд. с
 иллюстр. Гранвиля, ц. 1 р. 50 к.
 Р. Распе — „Мюнхгаузен“, с рис. Густ. Доре,
 ц. 70 к.
 М. Твен — „Приключения Тома“, с иллюстр.
 Н. Э. Радлова, ц. 1 р. 60 к.

Цены обозначены в червонцах по курсу Госбанка.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПЕЧАТАЕТСЯ:

Вольтер	— „Орлеанская дева“.
Гамсун	— „Городок Сегельфос“.
К. Эйслер	— „Испытание богов“.
В. Богачевский	— „Эгейская культура“.
„Хетты и хеттская культура“.	
„Французская революция в провинции и на фронте“.	
Ами	— „Искатели золота“.
Деллюк	— „В дебрях кинематографа“.
Зеллигер	— „Петер Фосс“.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский пер., 4.
ЛЕНИНГРАД, Проспект 25-го октября (Невский), 28.

МАГАЗИНЫ ТОРГСЕКТОРА:

В Москве: 1) Советская площадь, под гост. „Дрезден“, тел. 1-28-94, 2) Моховая ул., под гост. б. „Националь“, тел. 1-31-50. 3) Ул. Герцена (Б. Никитская), 13, зд. Консерватории, тел. 2-64-95, 4) Никольская ул., д. 3, тел. 49-51. 5) Серпуховская пл., 1/43, тел. 1-84-82. 6) Кузнецкий мост, 13, тел. 1-01-35, 7) Лялинский пер., 11, 8) М. Харитоньевский пер., 4.

В Ленинграде: 1) Проспект 25-го Октября (Невский), 28, 2) Ул. Володарского (Литейный пр.), 21, 3) Проспект 25-го Октября (Невский), 13.